ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

[5] 2013

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

«ПРЕРАФАЭЛИТЫ: МОЗАИКА ЖАНРОВ»

/ ДОКУРОМАН ДЖОБИ УОРРИКА «ТРОЙНОЙ АГЕНТ»

/ НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ «СКАЗИТЕЛЬ» МО ЯНЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания Дионисио Гарсиа Сапико (1929), скульптора и иконописца из «испанских детей», чье детство, отрочество и юность прошли в СССР.

- Дионисио Гарсиа Сапико
- notes
  - 1

Дионисио Гарсиа Сапико
Испанец в России
Из воспоминаний

Летом 38-го года нас почему-то перевели со Старого шоссе под Калугу, в деревню Ахлебинино. Не знаю точно, весь детдом переехал на новое место или только несколько групп. Но моя группа и многие другие ребята оказались в Ахлебинине, неподалеку от Оки (нас потом водили на реку купаться, учили плавать). Видимо, все-таки сюда переехал не весь детдом, потому что в Ахлебинине не было многих наших учителей и воспитателей.

Русскому языку учила нас Маруся Барабанова (так звали ее взрослые) — молодая статная девушка с легкими движениями и ясными глазами комсомолки, свято верящей в социализм. Очень способная, энергичная, она сразу завладела нашим вниманием. Ясно, что этому нельзя научиться. Видимо, она только что закончила педагогическое училище, и ее направили к нам «по линии комсомола». Представляю, как она обрадовалась: будет учить детей «героического испанского народа, борющегося с фашизмом!»

В Ахлебинине особо запомнился огромный яблоневый сад (росли там и вишни и сливы, но яблонь было много больше). Когда на следующий год весной сад зацвел, мы бродили в мареве цветов, как завороженные. Наверно, сад принадлежал совхозу, потому что нам запрещали рвать даже зрелые плоды — воспитатели гонялись за нами по всему саду.

Еще мне запомнилось побивание камнями и палками портретов вождей — понятно, не всех, — висевших по стенам коридора, ведущего в классы. Видимо, это были портреты Бухарина, Рыкова, Блюхера и других деятелей, репрессированных в 1938 году. Хотя непонятно, почему их портреты не сняли. Побивали их ребята из старших классов, скорей всего подвигнутые на это взрослыми.

В Ахлебинине с нами занимался Виктор Васильевич. Он стал нашим любимым воспитателем. Я и фамилию запомнил: Андреев. Высокий, красивый парень двадцати пяти лет — возраст свой он назвал сам, когда мы, почувствовав, что он нам друг, спросили об этом. В армии он служил танкистом; не знаю, в каком — видимо, небольшом — звании. Он появился у нас позже остальных. Заходит вечером в спальню, перед отбоем, когда особенно хочется

побаловаться напоследок: орем, хохочем, кидаемся подушками… Стоит — молодой, высокий, русоволосый, — смотрит на нас с интересом, и мы на него уставились. В руках держит большую палку наподобие лыжной, только покрепче, с острым металлическим наконечником внизу. Постепенно гам стих.

— Давайте знакомиться. Я — Виктор Васильевич, буду у вас воспитателем.

— А палка зачем?

— Волков бить! — ответил Виктор Васильевич и улыбнулся.

Мы пришли в полный восторг.

Шутил он или нет, не знаю, но каждую ночь, когда он напоследок заходил в спальню, в руках у него всегда была эта палка. С ней он отправлялся в обратный путь — в Калугу, где первое время жил, а дорога шла через большой лес. Спустя какое-то время ему дали жилье в детдоме.

Виктору Васильевичу я понравился. Могу примерно представить себе, что он думал: «Учится хорошо, на мандолине и на дудке играет, рисует… Маленький, но самостоятельный…» В столовой Виктор Васильевич сидел за нашим столом. Я очень любил гущу из компота — абрикос, груша, яблоко, вишня, изюм! Компоту можно было просить добавки — я и просил, гущу съедал, а жидкость оставлял. Виктор Васильевич это заметил и с явным удовольствием стал отдавать мне свою гущу. Бывало, привозил из Москвы что-нибудь для меня интересное, обычно какой-нибудь механизм. Помню, например, маленький ножичек для заточки карандашей: если толкнуть большим пальцем полушарие на ручке, лезвие высунется и зафиксируется. Однажды Виктор Васильевич принес удивительную игрушку: небольшой катерок, который двигался на паровой тяге с таким же тарахтением, что и настоящий катер, только, конечно, потише. Палубу катера можно было откинуть, внутри — резервуарчик для воды, под ним ставится кусочек свечи (примерно в 1,5 см в высоту). Свеча нагревает воду, пар поступает по трубочке в заднюю часть катера чуть ниже уровня воды; там трубка заканчивается простым, но замечательным устройством: две тонюсенькие стальные пластинки закрывают выход, но пар напирает и рывком выходит наружу, распахивая пластины. Когда давление пара ослабевает, пластины снова смыкаются, пар снова напирает и выходит, толкая лодочку. Все это происходит быстро (куда быстрее, чем я рассказываю), пластины хлопают, и раздается «ток-ток-ток-ток-ток», очень похожее на рокот настоящего катера. Можно было поставить руль так, чтоб катер двигался прямо, или плавно поворачивал, или шел по кругу… Когда свеча выгорала, катер

останавливался. Никогда больше я не видел такой замечательной игрушки.

Однажды Виктор Васильевич доставил мне особенную радость. Тем, кто любил рисовать, в детдоме давали краски — акварель, гуашь, цветные карандаши. Но масляными красками (из-за того, что сильно пачкают одежду и руки) мы писали только на кружковых занятиях под присмотром учителя. Цветные карандаши хранились в коробках, обычно по семь штук. Так вот, однажды Виктор Васильевич подозвал меня и вручил большую квадратную коробку, которая распахивалась на две половины, и в каждой лежало по двенадцать карандашей. Двадцать четыре цветных карандаша всевозможных оттенков! Чудо, восторг! Виктор Васильевич и сам был доволен.

Он прочел нам «Тараса Бульбу» Гоголя, пушкинского «Дубровского», «Кавказского пленника» Толстого. А читал он замечательно, причем видно было, что, учитывая и наш возраст, и способности понимать по-русски, пропускает некоторые места, что-то объясняет своими словами (так делали и другие воспитатели); мы же слушали завороженно, забыв все на свете. Как сейчас вижу: Виктор Васильевич сидит на скамейке под липой (липовая аллея вела от нашего корпуса к реке Клязьме) и читает нам «Дубровского». Мы полукругом сидим на траве и восторженно глядим на него, отождествляя чтеца с главным героем. А когда он дошел до того места, где учитель-француз грабит ночью глупого и трусливого Антона Пафнутьича и услышали: «Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским языком, — молчать или вы пропали. Я Дубровский», — мы так бурно обрадовались, что Виктор Васильевич засмеялся и сказал:

— Все, ребята! Хорошего понемножку. Завтра будет еще интереснее. Все! Скоро пойдем купаться.

Виктор Васильевич очень хорошо смеялся — искренне, светло и чисто, благородным таким баском. Казалось, он радуется доброй силе жизни, которую видел и любил во всем и в самом себе.

Разумеется, Виктор Васильевич был, как говорится, патриотом, что естественно для людей такого склада в те годы. После военных событий в Монголии (на Халхинголе и у озера Хасан) появилась песенка на эту тему, и Виктор Васильевич с удовольствием нам ее пел:

Японцы-самураи решили до Урала,
Границу до Урала довести.
Пошли они однажды к Уралу воровато,
Да встретились с Хасаном на пути.

На Хасане наломали им бока,
Били, били, говорили: «Ну, пока!»

Мы и сами пели патриотические песни того времени — «Широка страна моя родная», «Катюша», про трех танкистов… Почти все ужасно смешно уродовали слова. Например:

Награни… четучи хояхмура,
Крайсуро… витишиноябя!

Это означало: «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят…» (разрывы в словах получались по мелодии).

Война застала нас в благословенной Тарасовке. Поначалу мы ничего особенного не почувствовали: ведь была уже война в Монголии (Халхингол, Хасан), в Финляндии, и везде Красная Армия победила. Я, «местный умник», сказал уверенно, как опытный стратег: «Вот дураки немцы, не понимают, с кем ввязались в драку!» А взрослые сразу посерьезнели, помрачнели — знали, чем дело пахнет. Наш директор, Сергей Львович, собрал всех на линейку и сказал речь — серьезную, с драматическими интонациями:

— Товарищи! Случилось огромное несчастье: фашистская Германия напала на Советский Союз…

Слова «огромное несчастье», как я теперь думаю, директор сказал от себя, согласно собственному пониманию событий. Меня это поразило: почему «огромное несчастье»? Однако недаром запомнилось, как ветер шевелил его волосы, обрамлявшие лысину, а выражение лица подтверждало, что в словах его была трагическая правда. Но все же я, наверно, как и другие, не понимал в чем дело. Начал понимать потом, но и тогда не почувствовал ни тревоги, ни даже печали, а только какую-то отрешенность от происходящего и веру в благополучный исход. А какое горе звучало в голосах воспитателей, когда они читали нам газету со сводками о наступлении немцев и нашем отступлении! Все военнообязанные молодые воспитатели — Виктор Васильевич, физрук Николай, замполит Василий (офицер, моряк-подводник) — один за другим стали исчезать из детдома. Странно, но я не помню проводов на фронт Виктора Васильевича. Может, он просто поехал в Москву узнать, когда и куда надо явиться, и думал, что еще успеет попрощаться, но не вышло. Скорей всего, так и было.

Скажу сразу: наш Виктор Васильевич погиб осенью 43-го года

во время наступления советских войск на Киев. Хорошо хотя бы то, что он погиб во время наступления, а не раньше, что он уже видел, пусть далеко впереди, победу, а иначе — как же горько было бы ему! Известие пришло в детдом, когда мы уже эвакуировались (это слово стало тогда привычным) на Волгу, южнее Саратова. Маруся Барабанова плакала и не стеснялась слез: она, «мужественная советская девушка, педагог», плакала на глазах у детей, как обыкновенная слабая женщина. А мы, дикари, не плакали, хоть были сильно удручены.

Вскоре начали бомбить наш район. Уж что там немцы нашли такое важное — не знаю. Нам велели строить бомбоубежища. Явился какой-то спец, и мы под его руководством вырыли в лесу несколько землянок (такие показывают в кино), обшили стены досками и во всю длину справа и слева устроили сидения. Сверху положили крест-накрест несколько рядов бревен и засыпали вырытой землей. Получился довольно длинный холм. Каждая группа рыла свою землянку, и располагались они в лесу на приличном расстоянии друг от друга. В этих землянках при слабом свете свечей мы и сидели ночью, когда нас поднимали по тревоге. Сонные, тихие, почти ничего не чувствуя и без всякого страха, мы слышали дальние взрывы бомб: до нас все еще не доходил трагизм происходящего — слишком мы были убаюканы, избалованы, беспечны. И вот однажды случилось то, что я уже испытал в Португалете: одна из бомб упала близко, и вся землянка задрожала. Тут мы словно проснулись и, наконец, испугались. Утром, как только встали (уже в спальнях), тут же побежали смотреть, куда упала бомба. Оказалось, в «Белую дачу» — большой двухэтажный дом, стоявший за детдомовским забором, совсем близко от спального корпуса для мальчиков. Наверное, она действительно была когда-то чьей-то дачей, а тогда там жили несколько семей. Бомба упала совсем близко от дома и разрушила его боковую стену, обнажив угловые комнаты первого и второго этажей (по две на каждом) так, что стала видна внутренность квартир — обои на стенах, железные кровати, шкафы, оранжевые абажуры, семейные фотографии в рамках… Удивительная картина! Мы подробно рассматривали предметы чужой жизни, и в этом было что-то сказочное. Жители уже успели убрать разбитые бревна и прочий мусор, так что картина, открывшаяся нашим глазам, походила на театральную декорацию среди живой природы. К счастью, жертв не было. Жильцы что-то еще подбирали — бумаги, мелкие вещи, — о чем-то говорили, но в помещение никто не входил, боялись, что дом обрушится.

А вот еще одно событие, глубоко задевшее наши души, наш ум и окончательно прояснившее происходящее. Это была встреча

с войной лицом к лицу. (Все подробности рассказаны непосредственными участниками события.)

Кому-то пришло в голову распорядиться, чтобы наши ребята старшего возраста дежурили в лесу — на случай появления в нашей местности диверсантов-парашютистов. К этому времени в старших классах было несколько четырнадцатилеток, а одному (Юлиану из нашей группы 4-А) стукнуло шестнадцать. Видимо, в Испании он вообще не учился или из-за большого перерыва в учебе все позабыл, так что ему пришлось в двенадцать лет пойти в первый класс. Мы его любили: красивый, сильный, молчаливый парень никого не обижал, хотя был сильнее всех. Учился, правда, не блестяще. Так вот, ребятам объяснили, что и как они должны высматривать в лесу, как себя вести в случае опасности. И Юлиан Приор вместе с Феликсом, тоже рослым парнем, отправились прочесывать лес, но их самих задержал патруль из местных рабочих. Ребята шли, тихо переговариваясь по-испански, и поэтому вызвали подозрения. Сзади раздался окрик: «Стой, руки вверх!» Обернулись — двое держат их на прицеле: «Кто такие? Что тут делаете?» Дальнейшее развитие событий не поддается никакому разумному объяснению.

Юлиан шепотом говорит Феликсу: «Я побегу, а ты стой и не бойся: я приведу наших!» — и побежал, петляя между деревьями. Патрульный кричит: «Стой, стрелять буду!» — гонится за Юлианом, чуть погодя стреляет в воздух. Феликс стоит, плачет, вдруг слышит второй выстрел… А случилось вот что: когда Юлиан добежал до детдомовского деревянного забора (метра два высотой) и стал перелезать, он оказался удобной мишенью; патрульный выстрелил и попал. Юлиан, с пробитой насквозь грудью, сумел-таки перевалить через забор. Недалеко от забора стоял сарай с большой пожарной бочкой у стены; Юлиан пополз к этой бочке попить воды (говорят, что тяжелораненые всегда хотят пить), дотянулся руками до края бочки, встал… и тут же упал без сознания. Мы видели потом кровавый след от забора до бочки и пятно крови на ней. Тем временем Феликс сказал-таки патрульным то, что и надо было сказать с самого начала: что они из испанского детдома, который тут, рядом. Можно же было догадаться, что эти немолодые мужики с русскими винтовками и красными повязками на рукавах не парашютисты и не диверсанты! Патрульные пошли с Феликсом в детдом. А Юлиана наши уже нашли, принесли в санчасть, и там он через полчаса умер. Наша врачиха рассказала, что обнаружилось на вскрытии: пуля оцарапала сердце сверху, а попади она на 5 мм выше, Юлиан остался бы жив. Я был в спальне, когда Хосе и еще кто-то из ребят подошли к младшему брату Юлиана, Антонио (он с мрачным

лицом лежал на кровати) и сказали: «Антонио, твой брат убит». Антонио завыл страшным голосом и стал матерно ругаться.

Весь детдом всполошился. Ребята большой толпой (наверно, человек сто, не меньше) окружили канцелярию, куда зашли патрульные. У многих в руках были тяжелые железяки, палки, камни. Старшие стали колотить кулаками в дверь. Наконец вышел наш директор Сергей Львович и сказал печально и сурово:

— Ребята… Не надо… Произошла трагическая ошибка… Это наши люди. Но виновных в смерти Юлиана будут судить… Мы это так не оставим, я вам обещаю. А если вы пойдете на самосуд, сами совершите преступление, и вас тоже будут судить. Разойдитесь… прошу вас…

Мы потом долго обсуждали: неужели патрульные не знали, что здесь вот уже больше двух лет находится детский дом для испанских детей? Или они сами нездешние? Может, их послали сюда дежурить из другого района? Но разве они не видели, что перед ними почти дети без оружия и какого-либо снаряжения, в летних рубашках? Как можно заподозрить в них парашютистов?

Вскоре до нас дошел слух, что патрульных, в сущности, не наказали — мол-де, идет война, немцы близко, обстановка напряженная.

Нашего красавца Юлиана похоронили на ближнем кладбище у поселка Клязьма. Если и существует сегодня это кладбище, то уж от могилы Юлиана, конечно, не осталось и следа.

Где-то в августе весь наш детдом поднялся с насиженного места и, словно огромный цыганский табор, отправился кочевать. Нас отвезли в Москву спецрейсом на электричке; на Москве-реке погрузили на большой трехпалубный теплоход вместе со всем нашим скарбом — кровати, матрацы, постельное белье, зимняя одежда, посуда, учебники и прочее. По Москве-реке, затем по Оке, затем по Волге поплыли мы на юг, за Саратов. Плыли две недели. А что нам? Нам было интересно путешествовать, смотреть на Волгу, на теплоходы, на проплывающие мимо селенья; любопытно, куда прибудем, где будем жить, — никаких особых переживаний или тревог мы по поводу нашего будущего не испытывали. Где скажут, там и будем жить: учиться и баловаться. А война? Ну, это не наше дело.

Выгрузились на пристани Нижняя Добринка, 140 км южнее Саратова и 200 км севернее Сталинграда, — вот куда нас забросила судьба! И снова громадным табором, везя скарб на грузовиках и телегах, а сами пешком, двинулись к селу Галка, расположенному в семи километрах от Добринки на высоком берегу Волги. Это очень большое немецкое село (говорили, что в пятьсот дворов — что-то многовато). Советских немцев дня за три

до нашего появления выселили, дав три дня на сборы, — так нам объяснили воспитатели. Поместили нас в большом каменном двухэтажном доме, где раньше находилась школа и нечто вроде клуба (или дома пионеров) с комнатами для кружковых занятий и актовым залом. На стене висел плакат: ES LEBE GENOSSE STALIN! (Да здравствует товарищ Сталин!)

Здание было такое большое, что в нем поместились и наши спальни (правда, стало тесновато, а самых маленьких укладывали спать по двое в одной кровати, «валетом»), и классы, и учительская, и детдомовская канцелярия. Только жилье для взрослых детдому отвели в других домах — там, где прежде размещалось правление совхоза, или даже в частных.

Пока не подвезли железные кровати, мы спали на полу — на сене, и сильно натерпелись от блох. Столько блох я никогда больше не видел. Всю ночь мы вертелись, чесались, матерились, зажигали свет, ловили блох, снова ложились, вставали… Блохи кусаются очень больно, остро. Младшие попросту плакали от изнеможения и бессильной злобы. Через пару дней кто-то из взрослых (может, из местных) подсказал: надо нарвать полыни и перемешать с соломой, а несколько стеблей сунуть себе под одеяло. Так и сделали. Блохи исчезли — все до одной. Правда, просыпались мы, чувствуя, как дерет горло от полынной горечи, но, в сравнении с блохами, это пустяки.

Не забудем, что это был самый напряженный и грозный год войны: сорок второй. Немцы двигались к Волге на Сталинград — как раз в нашу сторону! А ведь отправляя нас туда, наверняка верилось: уж там-то дети будут в безопасности. Я еще расскажу о том, как и здесь война коснулась нас самым непосредственным образом.

Упомянув о Волге, я вспомнил вот еще что: весной, стоя на краю высокого обрыва, мы долго молча смотрели, как ломается лед на реке, как с грохотом и треском налезают друг на друга, ломаясь, громадные льдины, как их уносит река. Зрелище диких природных сил! От него нельзя отвести глаз, тем более, что находились мы в полной безопасности. Иногда раздавался такой могуче-гулкий, точно подземный, гром, что меня охватывал невольный трепет: «Как бы не стряслось беды!» Земля под нами дрожала — а вдруг уйдет из-под ног? Такое же впечатление производит и неожиданно близкий, сильный и страшный небесный гром, это «яростное раздражение неба», — сам себе кажешься слабеньким, хрупким и даже, как ни странно, виноватым: как будто на мгновение от мощного окрика с небес: А САМ ТЫ КТО? — пробуждается в тебе нечто вроде предсмертной совести.

Еще одна вечная тема. У нас в детдоме, оказывается, было несколько человек евреев из обслуживающего персонала; нам ведь, кроме учителей и воспитателей, требовались уборщицы, повара, прачки, кастелянша, завхоз, счетоводы, ночной сторож. Как-то мне сказали, что у нас есть евреи, включая директора Агромского. Сам я тогда не имел никакого понятия об этом народе и страшно удивился, когда однажды стал свидетелем скандала двух сотрудниц с учительницей русского языка и литературы Евгенией Абрамовной Маргулис (ее имя мне недавно напомнили), и одна из женщин крикнула: «Еврейка!», а разъяренная Евгения Абрамовна тоже закричала: «Да, мы евреи! С нами Маркс, с нами Гейне!» Я не знал, что и подумать. Странно прозвучал для меня тогда этот крик на весь мир, и я почувствовал за ним некую тайну. Спустя годы, читая Маркса (которого называют евреем, хотя он часто пишет «мы, немцы…»), я понял, что он сильно не любил евреев, считая их носителями шкурничества, торгашества, ростовщичества и приверженцами плутократии. «Деньги — вот ревнивый бог Израиля!» — заявил Маркс в какой-то статье, а Ф. Лассаль (тоже еврей и тоже деятель немецкого рабочего и социалистического, то есть антибуржуазного, движения) жаловался на «неизменный антисемитизм» Маркса. Вот такая неразбериха с этим вопросом.

Ночные «воздушные тревоги» начались и в селе Галка. Правда, редко. Не помню точно, с каких пор, но не раньше августа сорок второго. Здесь мы землянок не рыли — прятались в многочисленных мелких овражках и в сточных канавах. Нашей группе повезло: нам выделили глубокую, с немецкой тщательностью вырытую канаву недалеко от ворот нашего детдома; над канавой там и тут были проложены мостки. Сирена выла так, что «мертвых поднимет», как мы выражались. Мы кое-как одеваемся, главное — обуться, и бежим к канаве. Лежим, смотрим в ночное небо и балагурим. И вот однажды летят над нами немцы ровным строем по трое в ряд, и так они уверены в своей силе и безнаказанности, что пускают осветительные ракеты, очень яркие, холодного зеленоватого света; от них светло как днем. Мы смотрим на небо, лишь слегка напрягшись — все-таки фашисты над нами летят, — а в общем, почти как в кино. Но вот один самолет отрывается от своей тройки и пикирует на нас. Мы шепчем: «Смотри! Смотри!» — и съеживаемся. Конечно, самолет пикировал не на нас, а на большое каменное здание — наш детдом. Пролетая, выпустил очередь — «ту-ту-туту-ту-ту», — взвился с воем и встал в строй. Тут мы успокоились. А утром вышли и видим: всю крышу разворотило. Долго обсуждали: почему, зачем он стрелял? И в конце концов, вместе со

взрослыми, пришли к заключению, что это было просто баловство. Допустим, командир эскадрильи говорит кому-нибудь из летчиков: «А ну, Ганс, прошей-ка это здание!» Так — мимоходом, они же летели на боевое задание, скорей всего бомбить Саратов. А нам пришлось срочно чинить крышу.

Вскоре начальство Всесоюзного Красного Креста, в ведении которого находился наш детдом, отдало нашему директору распоряжение вновь сняться с места и переезжать в Башкирию, в село Языково, в 70 км к западу от Уфы, — вот уж действительно надежное место. Как я впоследствии узнал из книг о Третьем рейхе, на эти земли, далеко за Волгой, фашистские геополитики даже не претендовали.

Но вот что произошло еще до отъезда.

В нашей группе был мальчик, довольно красивый и способный (не помню, как его звали). Отец его тоже находился в России. Он был капитаном военно-морского флота и во время Гражданской войны остался верным Республике. Звали его Педро Прадо. Высокий, с благородными чертами лица, статный. Кто-то говорил о его аристократическом происхождении и о том, как хорошо он проявил себя во время Гражданской войны, вследствие чего *Советы* приняли его как специалиста. Он появился у нас в детдоме примерно за месяц до переселения в Башкирию. Так как я дружил с его сыном, Педро довольно близко познакомился со мной. Втроем мы беседовали на разные темы. Я показал ему свои рисунки и живопись, он обсуждал их со знанием дела: видимо, хорошо знал изобразительное искусство. В общем, он меня похвалил и даже попросил подарить один из рисунков, сделанный цветными карандашами. И вот перед самым нашим отъездом Педро говорит мне: «Я забираю сына из детдома в Москву. Если хочешь, возьму и тебя, будешь жить у нас семье как родной. Ты способный мальчик, в Москве у тебя будет больше возможностей для развития. Подумай».

Еще раз судьба поставила меня перед выбором. Я подумал и на следующий день, как мог, объяснил ему, почему отказываюсь. Что говорил, не помню, но знаю, что руководствовался тем, что называется интуицией. В четвертый раз люди пытались вмешаться и резко переменить мою судьбу — и четырежды я устоял; уверен — к своему благу. Была потом еще одна, последняя, попытка, самая романтическая, но о ней — в свое время.

Опять снялся с места наш табор в триста пятьдесят человек и двинулся к Добринке; опять грузовики и телеги везли наши кровати, матрацы, одежду, посуду, учебники и прочее. Я шел изрядно навьюченный: за спиной мандолина, завернутая в

наволочку; в правой руке этюдник с красками, кистями и разными инструментами, найденными в немецких домах (отвертки, стамески, разные металлические штучки — «на что-нибудь да сгодятся», и даже щипчики для сахара); в левой руке стопка книг, связанных веревкой, и большая картонная папка с моими рисунками и живописными этюдами, а также цветными репродукциями, вырезанными из журналов. Наверное, можно было весь этот скарб погрузить на телегу или на грузовик, но я не захотел: поломают или того хуже — потеряют… Начало сентября, жара (южное Поволжье), груз тяжелый. Тащу и для утешения ищу товарищей по несчастью — смотрю, кто еще волочит тяжесть. И представьте себе, никто. Многие несли что-нибудь легкое: пару книг, маленькую сумочку, но чтобы столько, сколько я, — никто! Помню, что ни досадно, ни жалко себя мне не стало. Я подумал: «Надо же! Значит, я один такой?» — и, ощутив себя, так сказать, «мучеником идеи», зашагал уверенней и бодрей, входя в роль героя, с воодушевлением идущего вперед «без страха и сомнения». Этот спектакль для себя самого я вдохновенно разыгрывал всю дорогу, теша свою гордость. Конечно, на семикилометровом пути были и привалы, когда мы с удовольствием растягивались на траве.

На пристани Добринка нас опять погрузили на трехпалубный теплоход с двумя лопастными колесами по бокам. Мы поплыли вверх по Волге против течения, и потому медленно. А нам что? Куда надо, туда и плывем. Вечерами усаживались на палубах по боковым проходам, хором пели испанские песни на разные голоса (у испанцев это хорошо получается). Кто-то с кем-то спорил, кто-то тихо смотрел на проплывающий пейзаж. Я иногда играл на мандолине советские песни «Дан приказ — ему на запад», «Тучи над городом встали» и разные другие, или что-нибудь испанское. Представьте себе: война, самая тяжелая из всех войн России, на фронте отчаянное положение — враг приближается к Волге, — а по реке плывет большой белый теплоход, и с палубы доносятся трели мандолины и красивые испанские песни.

Выносливое существо человек.

Доплыв до Саратова, мы опять воочию увидели войну. Поздним вечером в густых сумерках налетели на город немецкие самолеты. Наш капитан, наверно, заранее получил по рации известие и, чувствуя ответственность за нас, сотни детей, да еще испанских, принял такое решение: он направил судно подальше от города к противоположному берегу, подошел вплотную к прибрежному ивняку на мелководье. Матросы и многие из наших рослых ребят спустились по доскам и топорами и большими ножами стали рубить тонкий высокий ивняк и подавать его

наверх, чтобы укрыть им верхнюю часть парохода — он же белый! Все работали, как муравьи. Через 15–20 минут пароход сверху виден не был.

А в небе Саратова началась битва: лучи прожекторов шарили в черном небе, пушки и пулеметы били по самолетам, а те бомбили порт и, главным образом, нефтехранилища. Мы стояли в полукилометре от происходящего, и значит, это был не другой берег Волги (она здесь больше километра шириной), а берег крупного острова. Сейчас, описывая это событие, я захотел проверить по карте, так ли это, но обнаружил на том месте лишь Волгоградское водохранилище, поглотившее все острова. А карты того времени теперь не найти. Может, конечно, я ошибся в оценке расстояния, но как бы то ни было, мы ясно видели перекрещенные лучи прожекторов, немецкие самолеты, попавшие в перекрестия, и взрывы. Крупнокалиберные пулеметы били очередями трассирующих пуль, и картина, в общем, получалась великолепная. Бомбы попали-таки в нефтехранилище, нефть разлилась, достигла берега, и нашим глазам предстало ошеломляющее зрелище:

Волга горела почти до середины реки оранжевым пламенем с шапкой свирепо клубящегося багрово-черного дыма. В довершение всего одна из бомб упала в воду сравнительно близко от нашего парохода — метрах в ста или чуть больше. Некоторые ребята уверяли, что своими ушами слышали, как осколки врезались в судно. (Не знаю, могут ли осколки выскочить из воды и так далеко отлететь.) От поднявшихся больших волн пароход закачался. Воспитатели закричали: «Всем вниз — по каютам!» Ожидая неприятных неожиданностей, мы толпились во внутренних коридорах нижних палуб, но ничего страшного не случилось… Бой постепенно стих, и мы разбрелись кто куда.

Между прочим, и в этот раз (как и в селе Галка) мы обсуждали, почему эта одинокая бомба упала от нас так близко. Может, кто-то из немецких летчиков все же заметил пароход в свете пожара и решил сбросить бомбу на всякий случай? А может, летчик, ускользнув от прожекторов, сбросил последнюю бомбу куда попало, чтобы вернуться на базу пустым — отбомбился! — и, никому ничего не объясняя, отдохнуть от этого ада? Много чего выдумывали. Странно все-таки, что эта бомба упала посреди реки.

На другой день рано утром мы почувствовали, что пароход двинулся было, дернулся, но не поплыл. Оказывается, он довольно прочно застрял в ивняке и донном иле и теперь высвобождался, давая попеременно передний и задний ход. Только через час, а может, и больше (уже и завтрак прошел), мы,

наконец, поплыли по середине Волги. На следующий день нас нагнало грузовое судно с оторванным носовым отсеком — новый нос был наскоро сколочен из досок, да и то только в нижней части, чтобы хоть как-то резать воду. Судно двигалось на всех парах, наверно с каким-то ценным грузом.

Примерно через две недели мы прибыли в Уфу, на пристань на реке Белой. Оттуда, на автобусах и грузовиках, нас отправили в село Языково, где детдому выделили большой четырехэтажный дом и еще здание бывшей церкви (уже без колокольни и куполов), где устроили клуб, а боковое помещение приспособили под кухню. Скорее всего, в церкви и до нас размещалось какое-то общественное учреждение, или кинотеатр, или еще что-то в этом роде, потому что в глубине имелась сцена, рядом, по бокам, комнатки, а в «зале» стояли ряды стульев, схваченные позади планкой. Едва ли все это устроили к нашему приезду. Учителя, воспитатели, а также «обслуживающий персонал» жили в домах барачного типа: длинный коридор и ряды комнат по обеим сторонам.

В Языкове тоже произошло много интересных событий, но, как и до сих пор, буду рассказывать только о самых важных или колоритных.

Языково — село большое, оно даже обозначено на карте в географическом атласе Советского Союза. Здесь находились сельсовет (наверно, объединявший несколько соседних деревень), отделение милиции, почта, школа, библиотека, клуб, двухэтажная баня, куда нас водили мыться, и даже парикмахерская. Здесь мы пережили самое напряженное время войны — великую Сталинградскую битву. По-детски беспечные днем, мы каждый вечер собирались у репродукторов (эти черные тарелки висели в каждой спальне) и внимательно слушали сводки «От Советского информбюро». До нас уже начала доходить серьезность положения — мы повзрослели. В одной из больших комнат (наверное, в красном уголке) висела большая карта европейской части СССР, на которой кто-то передвигал флажки, обозначавшие линию фронта. Примерно раз в неделю нас собирали в клубе, разъясняли общее положение на фронтах с упором на то, что «все равно победим». А когда в конце ноября произошло окружение немецкой группировки, а в январе сорок третьего ее уничтожение, мы не раз слышали от повеселевших взрослых: «Ну, все! Теперь погоним их до самого Берлина!» Мы верили им и радовались.

К началу 43—44-го учебного года группу учеников, выбранных из шестых классов (а у нас, к этому времени, кажется, были только шестые и седьмые классы), совершенно непонятно

почему отправили в другой детдом — № 8, в город Миасс на Южном Урале, восточнее хребта, то есть уже в Азию. Поскольку мне всю жизнь везет на приключения, я, естественно, оказался в этой группе. Сколько потом я ни думал, по каким таким соображениям меня включили в число переселенцев, внятного объяснения этому я не нашел. Но что же — в итоге я только выиграл: обрел новых друзей, познакомился с красивым городом, с его музеями, парками, впервые побывал в настоящем городском кинотеатре.

Детдом находился на набережной реки Миасс. Река золотоносная, и часто, сидя на каменном парапете, мы смотрели, как моют золото. Группами по трое или четверо длинной вереницей старатели располагаются вдоль реки на мелководье; на всех высокие — во всю ногу — резиновые сапоги. Берут со дна совковой лопатой песок и кладут на наклонный лоток с ребристой поверхностью, трясут лоток, льют воду… Однажды кто-то из нас крикнул им: «Эй, много золота намыли?» Старатели знали, что поблизости есть испанский детдом, и решили показать нам свою добычу. Позвали старшего, стоявшего неподалеку, тот вынул из сумки туго завязанный мешочек (наверное, кожаный), размером с небольшое яблоко, поднял над головой и помахал им. По моим теперешним расчетам, там было больше килограмма золота.

Группами в разные дни нас водили в кино. Кроме фильмов военного времени (шел там, например, уже совершенно забытый сегодня «Антоша Рыбкин»), мы там смотрели американский фильм «Багдадский вор». Этот «Вор» заворожил нас — на какие хитрости мы только ни пускались, чтоб посмотреть его еще и еще раз. К примеру, проскальзывали мимо билетерши с использованным билетом в руках, норовя побыстрее скрыться в толпе; искусно приклеивали к вчерашнему билету бумажку подходящего цвета, на которой писали «контроль» и меняли число (но эту уловку чаще всего разоблачали). Главное было пробраться внутрь, из зала уже не выгонят, потому что кинотеатр продавал, кроме сидячих, *билеты без мест* — с ними можно было встать у стены. Сам я решил проблему фундаментально: нарисовал билет — где подходящими чернилами, где акварелью. При беглом взгляде мои «билеты» невозможно было отличить от настоящих, что доказано тем, что с ними никто ни разу не попался. Конечно, рисование требовало, помимо сноровки, времени (долго приходилось возиться с мелким шрифтом), так что делал я два-три билета, не больше.

В Миассе я впервые увидел настоящий русский рынок, с непременной тогда *барахолкой*. Денег у нас не было, но на рынок

мы все равно ходили — что-то разглядывали, приценивались. Как-то толстая баба, торговавшая пирожками, стала рассказывать, что мальчишки подсунули ей рисованную сторублевку и удрали. (Сто тогдашних рублей были как при Брежневе десять.) Я попросил показать поддельную сотню, рассмотрел ее и понял, что «фальшивомонетчик» имел несомненный талант: хорошо передал главное — рисунок и цветовую гамму, то есть то, что образует зрительное впечатление от денег. Я попросил торговку отдать мне это «творение», она отдала: «Бери, что мне с ней делать?» Добродушная баба. Довольно долго я хранил эту «сторублевку» среди своих рисунков, а после она куда-то делась. Сейчас очень жалею об этой утрате, как и о многом другом потерянном или просто легкомысленно выброшенном. Представьте себе, что я показал бы вам эту «сотню»: «Вот сторублевка сталинского времени, нарисованная в 1944 году каким-то мальчишкой из Миасса». Каково?

В Миассе нас часто кормили морковной кашей. Это запомнилось, потому что нигде больше я этой каши не ел. Странного вкуса, сладкая, но с каким-то неприятным, надолго остающимся горьким привкусом, как от картофельного или свекольного сока. Не все могли доесть свою порцию, однако, надо полагать, морковь изрядно укрепила наше тело и кровь.

Интересно, что в Миассе нас с седьмого класса впервые стали учить в обычных школах вместе с другими советскими ребятами, но отдельными группами. И хорошо: так мы привыкали к совместной общей жизни в Советском Союзе.

Из преподавателей нашей школы мне особенно запомнилась учительница русского языка и литературы — милая, женственная и добрая русская женщина, с тихим проникновенным голосом, наверно, очень любившая свое дело. Видно было, что она глубоко чувствовала литературу, во всем она видела поэзию. С ее уроков началась у меня настоящая, неизменная любовь к русской литературе, к русскому языку, да, видимо, и у многих других: все сидели тихо, не сводя с нее глаз.

Как бы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали.
Как бы на меня не кручинушка,
Не сидела бы я подпершися,
Не глядела бы во чисто поле… —

говорила она печальным голосом, слегка склонив голову, — так, будто она и есть та неведомая страдалица.

Вскоре мы заметили, что у нее растет живот. Меня очень удивляло то, что сама она при этом не изменилась — оставалась такой же, как была, во всех мелочах. Весной у нее родился мальчик. Наши девочки, узнав об этом, достали где-то шерсть светлых оттенков (может, распустили что-то свое или попросили взрослых купить нитки) и связали учительнице разные детские вещички, причем, как умеют испанки, очень красиво уложили подарки в большую коробку, написали на ней «Дорогой учительнице» и еще какие-то подходящие слова, положили ей на стол. Она пришла, поздоровалась с нами, как обычно, взглянула на коробку, прочла надпись, открыла коробку и… словно ноги у нее подкосились — опустилась на стул, уткнулась головой в коробку и заплакала. Наверно, эта любовь и забота о ней детей в суровое время войны потрясли ее. Да и кто знает, что за жизнь у нее была дома, с родными, соседями… Может, она жила одна, может, это был вообще единственный подарок… Потом она вытерла слезы, встала и сказала: «Спасибо, ребята. Ну, давайте начнем занятия».

Кстати о литературе. Было в детдоме одно упущение: не доставало своей библиотеки, откуда мы могли бы брать книги, по своему вкусу или по совету взрослых, и читать, читать и читать, обдумывать, развиваться — каждый по-своему. Появлялись иногда и ходили по рукам какие-то журналы, и то редко. Один из них запомнился мне на всю жизнь, поскольку я, от нечего делать, много раз брал его, перечитывал, рассматривал рисунки. Это был не периодический журнал, а специальный агитационный антифашистский выпуск под названием «Блиц криг» (по немецки — «молниеносная война»), созданный совместно художниками Кукрыниксами (Куприянов, Крылов, Николай Соколов) и поэтом Сергеем Михалковым, автором «Дяди Степы». Кукрыниксы нарисовали карикатуры, а Михалков сочинил к ним стихи. Такие, например:

Юный Фриц, любимец мамин,
В класс пришел держать экзамен.
Задают ему вопрос:
— Для чего фашисту нос?
— Чтоб вынюхивать измену
И строчить на всех донос!
Вот зачем фашисту нос!

— Для чего фашисту руки?
— Чтобы резать, жечь и[1]
— Для чего фашисту ноги?

Чтобы топать по дороге,
Левой, правой, раз и два!
— Для чего же голова?
Чтоб носить стальную каску,
Или газовую маску,
Чтоб не думать ничего —
Фюрер мыслит за него.

Из такого молодца
Можно сделать подлеца.
Рада мама, счастлив папа:
Фрица приняли в Гестапо!

Рядом со стихами было много рисунков, изображающих Фрица, его родителей, экзаменаторов и все остальное.

Или еще: на фоне карты, где обозначено окружение немцев под Сталинградом, нарисован Гитлер в виде бабы в платке с цветочками, лицо подпер рукой и плачет. Под рисунком подпись: «Потеряла я колечко! (А в колечке 23 дивизии)».

Вот еще строфа из стихотворения про немецкого офицера:

Днем кричал он хуторянам:
«Шапки с головы долой!»
Ночью отдал партизанам
Шапку вместе с головой.

И рядом соответствующие рисунки.

Еще был там нарисован Гитлер в виде кота, стоящего на задних лапах перед портретом Наполеона, изображенного в виде льва, а ниже стихи:

Один котенок, обнаглев,
Решил, что он похож на льва,
И льва увидев на портрете,
Воскликнул: «Двое нас на свете!
Как сильно я похож на льва…»

— Дурак, — ответил лев с портрета, —
Владел я половиной света
И с половиной вел войну,
А кончил жизнь свою в плену.
Но люди бешеных котят

Держать в зверинце не хотят,
Они их топят в грязной луже.
Иль в чем-нибудь еще похуже.

Были в журнале рисунки и стихи по поводу первой бомбардировки Берлина советской дальней авиацией (которую немцы объявили делом англичан). Вот отрывок:

— Как? — удивились англичане,
Проснувшись в утреннем тумане. —
Кажись, из наших ни один
Не залетал вчера в Берлин!

Не буду далее утомлять читателя цитатами из этого уникального издания 1943 года (как видите, стихи простенькие и сугубо агитационные), но скажу, что привел их, помимо колорита времени, для того чтобы убедить читателя в том, что память у меня была отличная, и сейчас не плохая, так что не надо удивляться (или считать их выдумкой) подробностям, которые я привожу в своих рассказах.

Интересно, остался ли в архиве Сергея Михалкова тот журнал? Я бы с великим удовольствием просмотрел его снова. Представляю себе, как вспыхнула бы зрительная память, как оживились бы те дни, события, лица! Наверное, даже запахло бы нашим миасским общежитием.

Познакомился я в Миассе с одной замечательной семьей. Глава ее — директор (или главный инженер) Миасского напилочного завода, одного из немногих в Советском Союзе, работал, видимо, хорошо, потому что на пиджаке у него я увидел орден Трудового Красного знамени. Имени этого человека я, к сожалению, не помню, поэтому буду называть его «директором». У них с женой не было своих детей, только два приёмыша: юноша лет 16–17 и девушка примерно того же возраста. Юноша учился в военном училище и с видимым удовольствием носил форму с большим гвардейским значком на груди. Девушка училась в одном из миасских институтов. Эта семья каким-то образом познакомилась с некоторыми ребятами из нашего детдома и стала приглашать их к себе домой, мальчиков и девочек, не помню сколько, кажется, человек пять или шесть. Среди них был и я. Они устраивали для нас вечеринки, чаепития с тортом, пирожками, конфетами, медом, сливками. Было в этом что-то восхитительное, и дело не во вкусной еде: само сидение у самовара за большим круглым столом, ласково освещенным

абажуром с бахромой, вместе с этими добрыми людьми, почему-то полюбившими нас, и разговоры, разговоры — о войне, о приближающейся победе, о будущем, о России, об Испании, о разных знаменитых людях, об искусстве, о жизни… Иногда я приносил с собой мандолину и играл для них. Я, можно сказать, влюбился в ту девушку и стеснялся этого: она была высокая и старше меня. Сама же она, заметив мои чувства, отнеслась к этому очень просто, благородно.

Однажды я принес им в подарок свой цветной рисунок, скопированный из большого зоологического атласа, — на нем был изображен великолепный рогатый лось в лесу. Рисовал я его с особым усердием — акварелью и цветными карандашами. Все семейство пришло в восторг, и к следующему моему приходу рисунок в рамочке висел на стене. Конечно, я сделал эту красивую картинку для нее. В другой раз я принес свою копию с иллюстрации к поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: всадники в доспехах и с копьями стоят у подъемного моста старинного замка, чернеющего на грозовом небе. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», — словно говорила эта картина. Подлинник был гравюрой, а я сделал имитацию пером и черной тушью.

Летом 44-го года нас решили вернуть из эвакуации поближе к Москве. Директор с семьей устроили нам прощальный вечер. Видно было, что им грустно расставаться с нами. Когда мы собрались уходить, директор попросил меня задержаться. И вот, совершенно неожиданно (до того никогда и намека на это не было), он предложил мне остаться в их семье: они с женой меня усыновят и обеспечат любое образование, какое только захочу. Я сказал, что мне очень хочется в Москву. Он ответил, что его вот-вот переведут на другую работу, именно в Москву. Я сказал, что мне трудно расставаться с друзьями. Он заметил, что друзей в жизни еще будет много, что в Москве у него будет машина, и меня повезут, куда я скажу, повидаться с друзьями. Уговаривал он меня долго, но я стоял на своем: нельзя, не могу. При разговоре присутствовала вся семья, они молча, не вмешиваясь в разговор, выжидающе смотрели на меня. Я иногда поглядывал на нее, — такая взрослая и такая высокая! — и что-то со мной происходило. Кто знает: если бы она была чуть младше и пониже ростом, я, может, и согласился бы.

Странная образовалась у этой семьи привязанность к нам: всей семьей они пришли на вокзал провожать нас — в последний раз повидались и простились друг с другом. А потом они махали вслед уходящему поезду, увозившему нас навсегда. Мне часто вспоминалась эта удивительная семья и мое участие в их

семейной идиллии.

В Москву из эвакуации возвращался не только наш детдом № 8, но и многие другие. Поначалу всех нас временно разместили под Москвой в больших домах, стоявших в лесу близ Нахабина. В этом «Нахабине» (детдом всегда получал свое прозвище по месту нахождения) тоже произошли примечательные события.

Шастая по лесу, мы набрели на разбившийся самолет — почему-то не помню, немецкий или советский, хотя мы, конечно, установили это по надписям на приборах в кабине. Самолет уткнулся носом в землю и, что странно, был более-менее цел: обычно в фильмах показывают, как подбитый самолет камнем падает вниз, взрывается и горит. Здесь же фюзеляж и крылья были на месте — эдакая ажурная конструкция из дюралюминиевых трубок, а в кабину со множеством сложных приборов можно было залезть. Правда, обшивка почти вся была содрана — наверно, она представляла для окрестных жителей какую-то ценность, и они «раздели» самолет. Почему самолет оказался в лесу и что случилось с летчиком, никто не знал. Наверное, только военный летчик мог бы внести какую-то ясность.

Я где-то достал ножовку по металлу, пошел к самолету и спилил несколько дюралюминиевых трубок подходящей толщины для изготовления блок-флейт; сделал три штуки для тех, кого учил играть.

Находили ребята в лесу и винтовочные патроны. Что с ними делать? Разожгли костер на поляне (на старом кострище), подождали, пока как следует разгорится, и бросили патрон — посмотреть, как взорвется. Взорвался патрон впечатляюще: разбросал костер и поднял тучу пепла. Мы в восторге. Затем кто-то придумал такую игру: разжечь костер, всем стать вокруг, довольно близко, и кинуть патрон. Суть в том, чтобы проверить, кто сбежит еще до взрыва, а кто останется. Я единственный раз решил испытать себя и удовлетворился тем, что отбежал не первым и не вторым. Игра была по-настоящему опасной: ведь патрон и гильза разлетались в разные стороны с немалой скоростью. Но что нам, когда так и тянет повыставляться друг перед другом. К счастью, никто не пострадал.

Странным образом, совсем рядом с детдомом, метрах в ста от нашего корпуса, находилась база десантников, почему так далеко от фронта — непонятно. Территорию базы окружал забор из бетонных столбов и металлической сетки, так что нам хорошо было видно, как они там жили. Десантники в этом лагере отдыхали, выздоравливали после ранений и заодно учились своему делу и тренировались. Было у них и свое стрельбище,

откуда часто слышалась стрельба. Жили десантники в землянках. Наши ребята познакомились с тамошним кладовщиком — молодой приветливый парень. Как-то он предложил ребятам пострелять из пистолета. Мой новый друг Альфредо Бильбао (из другого детдома) взял с собой и меня. Стрельбище находилось в лесу за оградой: на одном из склонов естественного холма был вырыт до середины холма вытянутый котлован, так что получилась вертикальная стена, которую обшили тесом. Там вешали мишени. Кладовщик поставил нас метрах в пятнадцати от стены (или поменьше), и почему-то прикрепил к ней не обычные мишени с концентрическими кругами, а тетрадные листы с угольным черным кружком посредине, размером с тогдашний пятак. Показал, как заряжать пистолет, вдевать обойму, ставить на предохранитель, как взводить курок, целиться, держать руку и спускать курок мягко, без рывка. Ребята стали стрелять — каждый по три выстрела. Дошла очередь до меня. Пистолет оказался неожиданно тяжелым и неудобным для моей руки. Я сделал первый выстрел; пистолет странно дернулся вверх и вбок. «Крепче держи руку!» — сказал кладовщик. Я выстрелил еще два раза и не попал даже в тетрадный лист. Обнаружив это, я сказал явную глупость: «Может, пистолет не в порядке?» Кладовщик улыбнулся, вставил новую обойму, прицелился и очень быстро, с промежутками меньше секунды, выпустил восемь патронов. Мы побежали смотреть: все пули попали или в черную точку или рядом. Непостижимо, как ему удавалось после каждого выстрела, за долю секунды, возвращать дернувшийся пистолет к прицелу и стрелять поразительно метко! Он поглядел на нас, улыбнулся, сунул пистолет за ремень, и мы пошли домой.

С этим замечательным кладовщиком случилась трагедия. Мне рассказал о ней со всеми подробностями тот же Альфредо. Ребята нашли в лесу запал от противотанковой гранаты (так его назвал кладовщик) и принесли ему показать. Он сказал, что это опасная штука, и лучше всего сразу же ее обезвредить. Попросил ребят отойти на всякий случай подальше и вошел с запалом в маленький сарайчик. Через какое-то время раздался сильный врыв, стекла вылетели, фанерную дверь сорвало с петель, и ребята увидели кладовщика — он лежал ничком. Прибежали солдаты и унесли его. Говорили, что он погиб сразу, потому что держал запал у живота и близко к лицу. Мы очень жалели этого парня, долго еще вспоминали о его гибели и рассуждали: «Вот если бы… а если бы он…» Очень нам хотелось, чтоб он остался жив. Но если б не он, то убило бы кого-нибудь из наших.

Случилась с десантниками еще одна беда: один из них, в пьяной потасовке, зарезал своего друга. Мы видели, как убийцу

выводили из землянки на прогулку, без ремня, руки за спину. Он ходил, мрачный, туда-сюда, а за ним с пистолетом наготове и с видом совершенного безразличия ходил часовой. Ребята спросили у часового, что сделают с убийцей. Он ответил, что разберутся, — может, в штрафную роту отправят, а может, и расстреляют.

В Нахабине из разных детдомов выбрали несколько групп и отправили в Черкизово (это совсем близко от нашей родной довоенной Тарасовки), где образовался новый детдом, не помню его номера. Туда я и попал, и там случилось со мной нечто, как теперь любят говорить, судьбоносное или, если угодно, провиденциальное.

Мы сразу невзлюбили директора детдома: высокий, сухой, весь вытянутый, он ходил в гетрах (сегодня мало кто знает, что это такое), всегда быстрым шагом, глядя не на нас, а куда-то поверх голов, короче, «сама строгость и недоступность», а по-нашему — шут гороховый. Мы прозвали его Тараканов, — по фамилии очень противного и смешного персонажа из кинофильма «Антон Иванович сердится», где главную роль играет Кадочников. Так вот, перед учебным годом обычно происходил отсев, и Тараканов решил познакомиться с теми, кого наметили к отсеву и лично решить их судьбу: оставить в детдоме до окончания школы или отправить на учебу в училище или техникум. Почему-то позвали к нему и меня. Когда я вошел, он просматривал какие-то бумаги. Поднял голову и говорит суровым голосом:

— Ну, что будем с тобой делать?

— А в чем дело? — спрашиваю я, искренне недоумевая.

— Ты прекрасно знаешь, в чем дело! — заорал он, тряся пальцем.

— Ничего я не знаю! — тоже заорал я, потому что он был мне невыразимо противен.

— Еще и кричать на директора вздумал?! Во-о-он!!!

— Идиот! — ответил я про себя и покинул директорский кабинет.

Впоследствии я не раз пытался понять, в чем он меня обвинял, но так ничего и не придумал. Разве что меня спутали с другим учеником по фамилии тоже Гарсиа (это распространенная в Испании фамилия). Меня зовут Дионисио (это имя), а дальше идут две фамилии — Гарсиа Сапико, но в документах пишут сначала фамилию (отчества у испанцев нет), а сокращенно могут написать «Гарсиа С. Д.». Другой ученик мог называться, скажем, Демесио Гарсиа Серрано, и записали бы его тоже «Гарсиа С. Д». Как бы то ни было, эта ошибка (или какая-то другая случайность) направила мою жизнь по иному руслу — совсем не по тому, что

было уготовано: окончив десять классов, я поступил бы в какой-нибудь ВУЗ, как это произошло почти со всеми нашими детдомовцами, и стал бы инженером, ученым или еще кем-то в этом роде (только врачом — ни за что), и жизнь моя в результате оказалась бы более однообразной и совсем не такой интересной. Но этого не случилось, и мой жизненный путь, если оглянуться, похож на извилистую дорогу среди разнообразных живописных пейзажей.

Я попал в группу (человек двадцать), которую отправили в Орехово-Зуево. Там находился (и, наверно, находится до сих пор) большой завод «Карболит» (говорили, что там работает 8000 человек). При заводе — химико-механический техникум, где мы и должны были, сдав экзамены, учиться. Узнав директорское решение, я удивился: Орехово-Зуево? Химико-механический техникум? Какое это может иметь ко мне отношение? Но если я откажусь и потребую разбирательства «моего дела» и меня в результате оставят в детдоме, значит, еще три года — ежедневно — Тараканов? Вынести это невозможно, и я решил: «Будь что будет, а главное — свобода!» Замечательно выразился по этому поводу Андрей Платонов: «Оставляй для судьбы широкие проходы».

Итак, я в Орехове-Зуеве, одном из старейших центров хлопчатобумажной промышленности России. Ряды больших добротных кирпичных домов, построенных для рабочих известным русским текстильным промышленником Морозовым. В техникуме было общежитие, но, видно, мест не хватало, и нас расселили по несколько человек в частных домах (собственно, в избах); считалось, что эти комнаты хозяева сдают заводу. В одной комнате со мной жили: Мануэль Перес, Калисто Альдаитурриага (это басконская фамилия) и русский парень Саша Пименов из Павловского Посада.

С хозяевами нам повезло — это были добрейшие русские люди, улыбчивые, всегда помогавшие нам, чем только могли. Иногда они звали нас к себе — вволю поесть вареной картошки с подсолнечным маслом, солеными огурцами и, конечно, с хлебом. Смотрят, как мы уплетаем за обе щеки, и радуются. Были у них три дочери. Младшая Катя, полненькая, кудрявая, голубоглазая, влюбилась в меня и не скрывала этого: глядит, улыбается и вся сияет. Я относился к этому с пониманием — дружелюбно; был внимателен, но не более того. Родители глядели на нас с улыбкой: может, были не прочь выдать дочку за испанца. Не забудьте, что мандолина, блок-флейта, папка с рисунками и живописью и любимые книги всегда со мной. Как обычно, я все

это «задействовал», что и произвело впечатление на девчушку. Между прочим, Саша Пименов тоже играл на мандолине, причем по нотам. Он где-то достал альбом простых пьес И.-С. Баха — прелюдии, менуэты, сарабанды, марши и т. п. в переложении для мандолины, помогал мне разучивать пьесы (ноты я плохо читал — «по складам», было мало опыта), и мы с ним недурно играли по очереди — к удовольствию слушателей.

Техникум тоже оказался подходящим местом. Приятные учителя и очень хороший директор: красивый молодой человек (лет 30–35, не больше), энергичный, умный и в то же время дружелюбный. И, что замечательно, он тоже играл на мандолине! У завода был свой клуб, где показывали кино, выступали приезжие артисты, а к праздникам готовили выступление художественной самодеятельности завода (естественно, при моем участии).

Мы, детдомовцы-испанцы, составляли отдельную группу. Из учителей особенно запомнились двое: учительница русского языка и литературы и учитель химии. Учительница была старой женщиной, и значит, дореволюционного образования, что чувствовалось в ее обращении и речи. Когда наши девочки, отвечая по литературе, должны были говорить о любви, о страсти и замолкали, не умея найти слов, учительница подсказывала с улыбкой: «Говорите, что он увлекся ею».

Учитель химии — мужчина средних лет, высокий и горбатый — нравился мне не только как учитель, но и потому, что свой горб он нес без всякого душевного неудобства — так, будто не знал о своем уродстве. На меня это произвело сильное впечатление. Если б я был горбатым, то не знал бы куда деться, как общаться с людьми, особенно с женщинами. А он был добрый, улыбчивый и, видимо, физически сильный человек. Мы ему положительно нравились. Иногда, вызывая к доске, он произносил по слогам фамилию: «Аль-да-и-ту-рри-а-га», — и добродушно улыбался.

Мы, испанцы, получали от Красного Креста повышенную стипендию, которой хватало на оплату трехразового питания по талонам в заводской столовой, и еще оставалось немного денег на личные нужды. Привыкшие к организованному трехразовому питанию, мы были вполне довольны.

Проучился я — «дотянул» — в орехово-зуевском Химико-механическом техникуме, примерно, до конца апреля. И к этому времени ясно понял, что профессия химика-технолога мне совершенно не по душе и, вместо того чтоб мучиться на экзаменах, подал директору заявление об отчислении.

Поскольку до поступления в какое-либо из художественных

училищ Москвы оставалось больше трех месяцев, а стипендии я лишился, то пришлось поступить работать на завод «Карболит» в цех *ширпотреба* (то есть товаров широкого потребления). Для начала меня там научили простейшему делу: зажимаешь в патроне токарного станка заготовку из цветного оргстекла для производства мундштуков и просверливаешь с торцов два отверстия: одно тоненькое, другое побольше, куда вставляется сигарета, — и все дела. Получив первую зарплату за полмесяца, я почувствовал, что в моей жизни произошла значительная перемена: я стал независимым тружеником. На свои деньги я покупал те же талоны трехразового питания, мог купить на рынке еще что-нибудь вкусное, мог купить краски, бумагу, холст… Благодать! А одеждой, обувью, постельным бельем детдом обеспечил нас на несколько лет: всё это нам привезли в Орехово-Зуево.

Начальником цеха ширпотреба был Лазарь Моисеевич; людям старшего поколения это имя знакомо: так звали небезызвестного члена политбюро Кагановича. И здесь мне повезло: начальник цеха оказался доброжелательным, внимательным человеком. Я пришел к нему в кабинет и сказал, что мне надоело сверлить дырки. «Ну что ж, — сказал он, — молодому работнику нужно овладевать разными профессиями», — и велел научить меня делать расчески на фрезерном станке. Дней через десять я опять к нему все с тем же. На сей раз он поставил меня обтачивать, клеить и полировать пудреницы, портсигары, шкатулки, их делали из молочно-белого оргстекла со вставками других цветов. Довольно красиво. Овладел я этим нехитрым мастерством и в третий раз (прямо как в сказке) иду к Лазарю Моисеевичу и вижу у него на столе наши изделия, но только красиво расписанные красками. «Лазарь Моисеевич, — говорю, — я тоже могу так сделать, я же художник!» — «Что ж ты молчал! Нам очень нужны художники, их-то нам и не хватает, а потому мы вынуждены пускать в продажу нерасписанные изделия. Сделай на пробу, что нравится, и оригинал возьми, скопируешь. А как работать нашими красками, покажет тебе такой-то, сейчас его позову».

Пришел мастер, показал. Надо было сначала слегка процарапать рисунок обычной иглой так, чтобы обвести место, куда ляжет данный цвет, отделить его от других; затем накапать краску так, чтобы каждый цвет занял свое место в очерченных границах — получалось нечто вроде мозаики. Когда краска высохнет (очень быстро), можно кистью дорисовать детали; наконец шкатулку полируют до блеска на станке (это делали другие). В итоге получалась очень изящная и прозрачная живопись. Материалом же для нее служили тонко тертые сухие

пигменты и жидкость дихлорэтан, между прочим, сильно ядовитая, так что держать флакон с этим химикатом нужно было подальше от себя, на вытянутой руке, а расписывать изделие, не склоняясь над ним, а держа его поодаль. Ну и лучше работать на сквозняке. Лазарь Моисеевич сказал, чтоб я не очень-то боялся: дихлорэтан ядовит, если его выпить, а пары не очень вредны, хотя предосторожности не помешают, в особенности, если работать годами.

Я взял для пробы портсигар и выбрал понравившуюся мне картинку на готовом изделии. Это была «собака на стойке»: лесная лужайка, редкие маленькие елочки, на переднем плане собака вроде сеттера с поднятой передней лапой, а откуда-то из-под нее вылетает куропатка (или тетерка). Были и другие мотивы. Дали мне для упражнений простые молочно-белые пластинки. Вскоре я понял, как надо работать, и сделал первый экземпляр с такой тщательностью, что Лазарь Моисеевич пришел в полный восторг: «Что ж ты, милый, молчал!» Я очень обрадовался новому делу, но не меньше обрадовала и хорошая — сказочная для меня — зарплата. Так как я не ленился, а платили по количеству изделий, то зарабатывал я в среднем 1500 рублей в месяц (или 150 после реформы). Я весь преобразился внутренне. И явственно почувствовал это, когда впервые пообедал с друзьями в ресторане: я ощутил себя могущественным человеком, а мне еще не было семнадцати.

Однажды, зайдя к Лазарю Моисеевичу, я увидел у него на столе новую картинку: на портсигаре был изображен казак, курящий трубку, с картины И. Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». Я взял образец и тоже стал делать этот мотив. Увидев в каком-то журнале цветную репродукцию с портрета А. С. Пушкина работы Тропинина, я, с согласия начальника, стал изображать поэта на портсигарах.

В Орехове-Зуеве мы встретили день Победы. Хорошо помню ту атмосферу — радость одних рядом с печалью других. В город прибыла большая группа пленных немцев, и где-то неподалеку от нас для них устроили лагерь. Многие работали на стройках, рыли канавы (для водопровода или телефонного кабеля). Такую канаву рыли и около нашего клуба. Запомнился один немец: крупный, сильный, с бараньей папахой на голове (хотя зима прошла) и очень злым выражением лица. Мы смотрим, как он копает, а он иногда бросает на нас взгляд, полный нескрываемой ненависти и презрения. Я спросил у охранника: «Кто он? Почему так зло смотрит?» Тот ответил: «Ничего, на днях пустим его в расход». И действительно: иногда по ночам были слышны автоматные очереди. Говорили, что идет чистка — избавлялись от эсэсовцев и

всяких иных неугодных элементов. В основном же немцы были добродушными, некоторые нам улыбались, пытались что-то сказать немного по-русски, немного по-немецки, а охранники спокойно, не зло, говорили им и нам, что разговаривать с военнопленными запрещено.

Там я получил удостоверение личности, паспорт, а точнее «Вид на жительство в СССР для лиц без гражданства». Этот документ специально придумали для нас, эмигрировавших детьми и не имевших никаких испанских документов. Дело было так. Пришли к нам люди из МВД, пригласили к себе и стали расспрашивать «что, где, когда», чтобы зарегистрировать нас у себя и оформить наш «главный документ». Когда спросили о дне рождения, я сказал, что не знаю; спросили, сколько мне лет, я ответил, что приблизительно семнадцать. Они переглянулись, улыбаясь: «Что будем делать? В документе должен быть указан день рождения». Я сказал: «Давайте придумаем, мне все равно. Пусть будет, к примеру, 23 февраля, день Красной Армии». Они засмеялись: «Ну что ж, так и напишем». Что касается года рождения, то я им показался маловат для семнадцати лет, и написали «1930». Так и стоит до сих пор в моем «виде на жительство» эта ошибочная дата вместо правильной — 1928-й. А вот день и месяц рождения, когда я узнал от матери точную дату, как-то при очередном продлении документа согласились изменить: 19 ноября.

В 1990 году я принял испанское гражданство, и теперь мой документ называется «Вид на жительство иностранного гражданина». Однажды, задержавшись глазами на этих словах, я подумал: «Власти полагают, что я в России не живу, а только *делаю вид* на жительство».

Настало время ехать в Москву искать место учебы. Я уже поговорил об этом с Лазарем Моисеевичем, и он сказал: «Жаль тебя отпускать, но ты правильно делаешь: молодым нужно учиться, двигаться вперед!» Истинно советский человек. Однако я завозился и отправился в Москву уже где-то в середине августа. Ночевал я несколько дней в общежитии авиационного завода (кажется «Тридцатого»), где работало много испанцев. В больших общежитиях всегда кто-нибудь отсутствует, и можно занять его место. Выпускалась тогда для молодежи такая брошюра «Куда пойти учиться». Там я нашел «Художественно-ремесленное училище по специальностям: альфрейная живопись (художественная роспись стен), лепка и моделирование, краснодеревщики, художественная обработка камня, художественная штукатурка. Требуется справка об окончании 7

классов средней школы. Экзамены по рисунку и живописи». Это мне подходило. Адрес: метро «Аэропорт», улица… (сейчас это ул. Черняховского, а тогда, кажется, Инвалидная), дом № 9.

Выхожу на «Аэропорте» и тут же рядом вижу большую доску объявлений этого самого училища с подробными разъяснениями: трехлетнее обучение, день практики и день специальных общеобразовательных предметов (история, история искусств, рисунок и живопись, части здания, материаловедение). Но главное: трехразовое питание, полное обмундирование и общежитие для иногородних. Как раз для меня! Я направился по адресу, захожу в белое четырехэтажное здание училища и узнаю, что судьба в который раз идет мне навстречу: оказывается, это новое, только что образованное училище, с обустройством его немного запоздали, и экзамены начнутся только с 10 сентября. Однако приемная комиссия работает, представил справку, показал свои рисунки и живопись, меня записали. Вернулся в Орехово-Зуево, прожил там в безделье с полмесяца, затем вернулся в Москву, сдал экзамены в училище, устроился в общежитие и только тогда покинул незабвенное, ставшее родным Орехово-Зуево. Еще бы: там я получил «боевое крещение» в самостоятельную жизнь!

Поступил я на отделение резьбы по камню, но не совсем по собственному желанию: я хотел на альфрейное отделение, но так как я записался туда позже других, когда группа была уже набрана, последним в списке стали предлагать другие профессии. На краснодеревщиков тоже не было мест. Я выбирал между лепкой и моделированием, художественной штукатуркой и резьбой по камню. Выбрал резьбу — и очень рад, что так получилось.

Я давно заметил: меня судьба ведет. Почему я замешкался с приездом в Москву на учебу? Не знаю: ведь умел считать дни и месяцы. Почему благословенное мое училище запоздало с экзаменами — как раз к моему приезду и к моему благу? Почему учебных мест на альфрейщиков не оказалось? И какая разница, кто когда записался? По способностям к живописи должны были бы зачислять в эту группу по результатам экзамена, а в таком случае меня, без сомнения, взяли бы, что для меня было бы хуже. И во многих других случаях — всю жизнь — происходило со мной нечто подобное, как будто кто-то говорил мне *оттуда*: «Иди, куда тебя несет, не сопротивляясь и особо не рассуждая, — и все будет как надо». А уж если я начинал самовольничать, идти против естественного течения событий, что-нибудь обязательно меня останавливало.

Где-то в конце второго года обучения из нашего Испанского

центра мне принесли письмо, в котором незнакомый человек, хорошо знавший моего отца, известил меня о его гибели. Помню, что это меня не ошеломило, я как будто давно *так и знал*. Опечалился, конечно, и ночью, лежа в постели, во всех подробностях вспоминал о нем, о моей жизни в Орильесе.

Однажды начальники-коммунисты из нашей эмиграции решили устроить радиопередачу для Испании о нашей счастливой жизни в Советском Союзе. В числе других избрали для беседы троих из нашего училища: Кармен Селис, Эмилио Родригеса и меня. Приехала машина звукозаписи, в форточку нашей мастерской просунули кабели микрофонов (хотели записать как фон перестук инструментов во время работы) и началась подготовка к беседе, которая, по порядкам того времени, была уже расписана «на три голоса» — как певцам. Каждому вручили бумагу с машинописным текстом «роли», чтобы читали текст по очереди, притворяясь, что говорим от себя, совершенно искренне, дополняя один другого, примерно в таком духе: «Да, Кармен, но не только это, еще…» В театре это называется *читкой* пьесы. Был, конечно, и режиссер. Для начала нас попросили ознакомиться с текстом, чтобы в дальнейшем читать его проникновенно, с выражением. И вот я натыкаюсь в своем тексте на такую примерно фразу: «Только благодаря заботам родного и любимого товарища Сталина, мудрого отца всех трудящихся, я смог…» Тут я посмотрел на руководителей (их было двое) и говорю:

— Я про Сталина читать не буду. Пропущу.

— В чем дело? Почему?

— Я Сталина плохо знаю, какой же он мне *родной*? И потом у меня есть отец, вот его я люблю. (Наверно, для убедительности, я им не сказал, что отца уже нет на свете.)

— Не говори глупости! Сталин всем нам отец. Это же символически говорится!

— Не важно! Я этого просто выговорить не могу. Да и не я это писал. Кто написал, не знаю. Противно. Или я про Сталина пропущу, или совсем читать не буду.

Они переглянулись, замялись, затем один из них прикрикнул:

— Ты здесь не один! Не порть передачу!

Поняв, по выражению лиц, что они все равно не отстанут, я положил «роль» на верстак, вышел из мастерской, побежал на третий этаж и спрятался там в одной из кабинок туалета. Рядом с лестницей была дверь на улицу, и я подумал, что искать меня будут на улице. Время от времени, до меня доносилось: «Дионисио-о-о!» (это испанцы звали) или «Гарсиа-а-а!» (это русские). Подождав минут двадцать, а может и больше, я вышел

на разведку, попросил приятеля выглянуть на улицу — стоит около нашей мастерской машина типа УАЗ или уехала — и никому не говорить, что он меня видел. Вскоре приятель вернулся, сказал, что никакой машины нет, и я ему все рассказал.

Через несколько дней позвали меня в Испанский центр — разбираться. Поначалу начальники были настроены грозно, но я их убедил, что слушатели в Испании — не дураки, что слушают передачи не только «свои», но и «неприятели». Они же смеяться будут над нами, куклами заводными, и над ними, руководителями, поскольку фальшь ясно видна! Я сказал, что общую идею поддерживаю, что мне действительно хорошо и легко живется — я люблю свое училище и свою работу, люблю социализм и Советский Союз, но говорить об этом я буду своими словами, и скажу куда убедительнее, чем они понаписали, да еще сыграю на саксофоне. Они, скрепя сердце, согласились: «Этот юнец, да притом не комсомолец, еще и учит нас — критикует старших!» Но ведь они и сами не дураки, — хитрые бестии! — знают, что такие передачи обязательно прослушают сначала здесь «на высшем уровне» (в секретариате Испанской Компартии), да еще куратор нашей эмиграции из КГБ, так что если передача получится своеобразной, удачной, политически нужной, то похвалят в первую очередь их. Договорились о дне, пришел я со своим саксофоном в какое-то помещение радиокомитета, обсудили передачу — «интервью», — и все получилось, кажется, очень неплохо. Между прочим, я в конце беседы самовольно обратился к своим родным — к матери, братьям и сестрам: «Вдруг вы меня слышите? Так вот, скажу вам главное: мне живется здесь хорошо, я всем обеспечен, в Советском Союзе никого из молодежи не бросают на произвол судьбы, тем более нас, испанцев, живущих без родителей. Можете за меня не тревожиться, уж вам-то я бы не стал лгать». В конце передачи я сыграл для испанских слушателей на саксофоне что-то красивое русское и что-то испанское.

Я не вступил в комсомол ни в детдоме, ни в училище. Разумеется, мне, хорошему ученику, предлагали вступить, но я всегда отказывался, говорил, что не люблю собраний, что и так учусь и занимаюсь общественной деятельностью вполне «по-комсомольски». Но дело было, главным образом, в том, что я не хотел дополнительных начальников: *сам все понимаю и сам сделаю, что нужно*.

Во время каникул мой приятель из лепщиков-модельщиков Кашкадов (имя я забыл, поскольку мы чаще всего называли друг друга по фамилии) позвал меня поработать на строительстве

Московского Автомобильно-дорожного института (МАДИ). Здание строилось совсем недалеко, в каких-нибудь трехстах метрах от нашего училища. Надо было лепить различные потолочные розетки, декоративные кронштейны и модульоны, лепные бордюры и отливать их из гипса. И заработок очень неплохой. Я обрадовался: опять появятся у меня свои деньги!

На строительстве работало много пленных немцев, там я и познакомился с незабываемым Зигургом Мерцем, артиллерийским офицером, старшим лейтенантом. Красивый стройный парень выше среднего роста, лет, кажется, двадцати шести. По образованию — архитектор, причем, как он сам объяснил, главным образом декоратор. Зигурт отлично рисовал, лепил и знал форматорское дело (то есть работу с гипсом). Его нам дали как помощника, хотя он ни в чем нам не уступал — хорошо лепил и мог предложить разные дельные поправки к чертежам. Его мобилизовали в 44-м. За два с лишним года плена Зигурт научился прилично изъясняться по-русски. Как услышит незнакомое слово или выражение, говорит: «Айн момент», — вынимает записную книжку, спрашивает, что это значит, и записывает. Мы с ним быстро сошлись.

Надо сказать, что, по-видимому, немцы жили в плену неплохо (понятно, плен есть плен — не обрадуешься). Проходя по стройке (были возведены только стены первого этажа, и всюду, как в лабиринте, зияли дверные и оконные проемы), я наблюдал за немцами, видел их спокойные лица, слышал разговор, часто веселый, со смехом. Работали они тщательно, размеренно. А однажды я видел, как они выходят из столовой почти строем (по привычке), но медленно, лопоча что-то по-своему, вроде го-го-го, как сытые гуси; некоторые почесывали животы и издавали задом «постыдные звуки», что ничуть их не беспокоило. Крепкие рослые мужики. Я спросил Мерца о питании (мы с Кашкадовым чаще всего его звали по фамилии). Он сказал, что норма хлеба на день — 700 граммов, что кормят их сытно и часто дают любимую пищу немецких солдат — фасоль с салом. Кстати сказать, и у нас в детдоме во время войны, и в нашем училище была та же норма хлеба — 700 граммов. Руководил их работой тоже немец — средних лет, грузноватый, видимо, сам архитектор или инженер-строитель. Он сидел под парусиновым навесом за столом с кучей бумаг и чертежей и деловито управлял муравейником.

И по виду и по настроению Мерца было видно, что его ничто особо не тяготит: работал он с охотой, говорил с нами, почти всегда улыбаясь. Мерц с явным удовлетворением говорил: «У золдатен есть клопик» (и показывал пальцами, какие они — клопы — маленькие); «у офисиег — нихт клоп». (Иногда он, зная

русские слова, второпях говорил немецкие).

Забавный случай.

Однажды явились к нам какие-то строительные начальники, судя по всему, сам архитектор проекта и кто-то из инженеров-строителей. Стали смотреть, как идут дела с декоративными изделиями. Показываем чертежи, они их сравнивают с нашими работами, что-то обсуждаем. Архитектор делает какие-то замечания, что-то предлагает, и Мерц, тоже архитектор, вдруг говорит со всей профессиональной искренностью и самым учтивым тоном:

— Ниет… Это будет хуйево…

Начальники переглянулись и захохотали.

Снова обсуждаем, мягко спорим по поводу каких-то деталей: ведь мы действительно что-то изменили в лепке относительно чертежей, по нашему мнению — к лучшему. Мерц вместе с нами очень учтиво объясняет им, почему мы сделали хорошо, а как было начерчено — это хуйево. Начальники опять тихо посмеиваются. В конце концов, видя что мы все же хорошо лепим, умело, они одобрили работу в целом и ушли. Мерц спрашивает меня с недоумением:

— Дэнис, почему они смеяться, когда я говорю?

— Потому, что ты сквернословил.

— Что такое? Сквер… нос… ловил?

Я ему сказал, что *хуйево* — это грубая народная замена слову «плохо», и объяснил в чем дело. Мерц схватился за голову:

— Айяяй! Это мне русский шофер сказал!

Теперь уже смеемся мы с Кашкадовым: нашел, у кого спрашивать! Мерц мягко картавил, так что у него вышло еще смешнее и жальче: «Гусский шофе-е-г!» Говорят, что такое произношение у немцев — признак аристократизма. Интеллигент Зигурт Мерц страшно удручился этим происшествием, а мы его утешали, мол-де, начальники привыкли к подобным выражениям и даже остались довольны тем, что немецкий офицер успешно усвоил *русскую* речь. Мерц, оказывается, знал слово «плохо», но, видно, новое выражение больше ему понравилось: он же был художник, и музыку любил, а слово «плохо», согласен, звучит куда менее выразительно.

Мерц, узнав, что я испанец, стал чаще беседовать со мной. Кашкадов же был неразговорчив, он молча, несколько угрюмо, энергично работал и делал больше всех. Когда же мы оставались вдвоем, Мерц оживлялся и начинал какой-нибудь разговор, часто не прерывая работы. Говорили мы больше об искусстве. Я, бывало, хотел обсудить с ним то, что случилось с Германией — нацизм, войну, — хотел узнать, как он на все это смотрит, но

Мерц не поддерживал разговора на эту тему, молча махал рукой, и я не настаивал. Ясно: тяжело ему было, слишком неприятно.

Когда Мерц в который раз повторил, что столько ржаного хлеба, сколько им дают, невозможно съесть, и что хлеб у них остается, я предложил: пусть они, несколько человек, попросят дать им их норму ненарезанными буханками (немцы в столовой обслуживали себя сами). Я продам хлеб на рынке, а на эти деньги куплю им что-нибудь — что они скажут. Мерц очень обрадовался и поддержал идею. Вскоре он стал приносить из столовой по две буханки ржаного хлеба, уложенные в немецкую военную сумку темного зеленоватого цвета. Вечером я продавал этот хлеб на Инвалидном рынке, который находился между строительством и нашим училищем. Мерц подумал, что ему нужно купить на вырученные деньги и наконец сказал:

— Дэнис, можно зеркальце? — и показал, раскрыв ладони, что он имеет в виду маленькое складное карманное зеркальце. На следующий день я принес зеркальце. Оно ему понравилось, и Мерц заказал еще несколько штук для своих приятелей. Я купил для них несколько зеркалец, тюбиков зубной пасты (им давали порошок), красивых батистовых носовых платков, записных книжек со вставленными внутрь тоненькими карандашами, еще что-то, а как-то раз и французские булочки — вкуснейший белый хлеб, которого они давно не ели.

Однажды Мерц сказал, что скоро день его рождения, и он хочет накопить на угощение. За день до торжества начали мы с ним соображать, что купить к столу. Я перечислил ему всё хорошее и вкусное, что было в магазинах — а было тогда многое (в так называемых «коммерческих магазинах»), только дороговато для простого труженика. И Мерц выбрал: окорок вареный, осетрину, сыр, маслины, какие-то овощи («оккурци», как он говорил), фрукты, бутылку шампанского, десертного и сухого вина, белый хлеб и, конечно, торт. Учтите, деньги были общие, не его одного, а нескольких офицеров, так что не Мерц угощал, все вместе угощались.

И вот, в день рождения, перед самым концом рабочего дня (я был один, Кашкадов часто уходил раньше, у него были дела где-то еще), появляется Мерц, с тремя или четырьмя другими немцами, тоже офицерами, знакомит меня с ними (они кланяются и я тоже, без всякого рукопожатия: понятно, что это уж слишком), и Мерц говорит (вставляя в свою упрощенную русскую речь немецкие слова), что он и его друзья имеют честь пригласить меня на праздник, что они питают ко мне самые хорошие чувства, будут очень рады и так далее. Затем добавил, что надо только попросить разрешения у начальника лагеря. Я, конечно,

обрадовался: посмотрю поближе, как живут пленные, попирую с ними, поговорим.

Иду к начальнику лагеря. В дверях охранник с автоматом. Я показываю ему пропуск на стройку, с фотографией, он открывает дверь, и мы входим в кабинет начальника. Охранник говорит:

— Вот просится к вам, что-то ему нужно.

Начальник посмотрел на меня и говорит тому:

— Хорошо, иди.

И обращаясь ко мне:

— Ну, что у тебя?

— Я тут работаю лепщиком-модельщиком. С нами работает немецкий офицер Зигурт Мерц…

— Ну, знаю Мерца.

— У него сегодня день рождения, они там соберутся в офицерской комнате и Мерц приглашает меня посидеть с ними. Нужно только ваше разрешение.

Начальник посмотрел на меня очень внимательно, как-то пронзительно, и говорит:

— Иди отсюда!

Я растерялся и от неожиданности слабым голосом спрашиваю:

— Что?..

— Иди отсюда — быстро!

Я обиженно, как маленький мальчик, опустил голову, повернулся и ушел. И уже на улице стал соображать, что должен был бы ему ответить, как объяснить… Затем до меня самого дошло — ведь это лагерь немецких военнопленных, недавних врагов наших, стрелявших в наших бойцов, убивавших их… А я — между прочим, тоже не русский — прошусь к ним… на день рождения! Ну и ну! Хорошо еще, если обойдется…

На другой день я все объяснил Мерцу. Он понял, счел поведение начальника нормальным, рассказал мне, как хорошо попировали, что выпили и за мое здоровье.

А опасения мои не оправдались. Тот начальник, видно, был неплохим человеком, посмотрел на все обыкновенным житейским, а не *политическим* взглядом. А я ведь был уже вполне пригоден для лагеря: 18 лет.

Проработав на стройке почти до конца августа, мы с Кашкадовым должны были уволиться — начинался третий год обучения. Я заранее сказал об этом Мерцу, и, когда настал день прощания, он меня удивил. Я и раньше видел, что он очень ловко лепит небольшую фигурку (сантиметров 15 в высоту) обнаженной девушки, сидящей в очень изящной позе. Затем он отлил ее из гипса. Оказывается, это был подарок для меня! Он принес еще

небольшое изображение Богоматери с младенцем, вырезанное из дерева низким рельефом и слегка, очень прозрачно, раскрашенное акварелью; внизу надпись по-немецки «Guten Mutter». Я спросил, кто это сделал, и тогда Мерц пошел куда-то и вернулся вместе с незнакомым рослым немцем средних лет, очень смиренного вида: смотрит на меня, опустив руки, не шевелясь, и, не решаясь улыбнуться, молчит. Я поблагодарил его, он поклонился и ушел.

Дней за десять до этого Мерц сказал мне, что в деревообрабатывающей мастерской могут сделать для меня что-нибудь нужное. Я понял, что он хочет как-то меня поблагодарить, и спросил, могут ли сделать этюдник. (Разъяснение для тех, кто не знает: этюдник — это небольшой ящик с отделениями для красок и кистей, открытую крышку которого можно зафиксировать с нужным наклоном, чтобы закрепить на ней холст или картонку и заняться живописью на природе — писать этюды). Через некоторое время Мерц принес готовый этюдник, аккуратно, «по-немецки» сработанный и покрытый лаком. Я был очень тронут его заботой. Мы, детдомовцы, отвыкли от обычных семейных подарков: в детдомах никогда не праздновали ничьих дней рождения, не отмечали подарками чьи-то успехи, давали только похвальные грамоты, а дети ценят подарки.

Когда я писал это, опять вспомнил нашего любимого Виктора Васильевича, воспитателя из тарасовского детдома, единственного, кто дарил мне разные приятные вещи. **Виктора Васильевича, убитого немцами под Киевом**… И вот теперь немцы, пленные солдаты, убивавшие наших, с сердечным расположением дарят мне подарки! Мерц командовал батареей и, значит, указывал, куда направлять огонь, называл наводчикам прицел и кричал «огонь!» Что, если как раз по команде Мерца и погиб наш Виктор Васильевич? Ведь это могло быть! А даже если и нет, то сколько наших солдат было убито по его наводке! А Мерц — симпатичный человек… Вот и это — война.

Кстати о войне и о немцах. Вспомнился мне рассказ Анатолия Кассирова из нашей группы про то, что он пережил, будучи (недолго) в оккупации не так далеко от Москвы. Его рассказ произвел на меня особое впечатление.

Кассиров, очень неглупый человек и способный ученик, во время общего разговора о войне, о немцах, сказал, что это, мол, вы всё взяли из кино, из газет, а вот он был в оккупации и своими глазами видел немецких солдат и знает, как они себя ведут. Учтите, Анатолий вообще любил противоречить и никогда ни с кем не соглашался. Вот что он рассказал.

В деревне идет бой. Советские войска отступают, сдают

деревню. Крестьяне попрятались по домам. И вот около Толиного дома останавливается военная машина с немецкими солдатами. Они с матерью смотрят то в одни окна, то в другие, чтоб знать, что происходит (а младшим не велят смотреть: пуля или осколок может попасть в окно). Наших солдат уже не видно. С улицы слышны крики немцев — какие-то приказы, наверно, «Хальт! Хенде хох!» Ни Толя, ни мать никак не поймут, кому они кричат, и вдруг видят: по соседскому огороду, между грядками картошки, ползет солдат, медленно, размеренно и как-то совершенно спокойно. Хорошо запомнились слова Кассирова: «Мы стали волноваться за него: ну, что же ты! Встань, беги куда-нибудь! Или сдавайся! Убьют ведь!» А он все ползет. К забору ползет, где у самой земли дыра. Немцы все кричат, а он ползет. Наконец раздалась автоматная очередь, и бедняга затих в картофельной борозде.

Толя так живо рассказывал, что я прямо-таки видел, как все произошло. Я думаю, что тот солдат глубоко проникся идеей «Лучше смерть, чем позорный плен». Пожалуй, он относительно своей жизни поступил правильно: известно, сколько мучений и унижений пережили советские военнопленные (а ведь их было несколько миллионов!), прежде чем их почти всех уничтожили.

Вот что еще рассказал Толя.

Немцы варили пишу в полевой кухне, а затем, рассевшись на траве, ели свою похлебку. В деревне уже тихо, и некоторые из детей, в том числе и маленький Толя, вышли на улицу — стоят и смотрят издали на немцев. Те тоже смотрят на ребят, что-то говорят. Когда кончили есть, стали показывать знаками, чтоб ребята принесли посуду, — мол-де, дадут и вам поесть. Детишки сбегали за посудой, и каждому немцы наложили фасолевой каши. Они смотрели на ребят и явно были довольны — может, вспоминали своих детей.

Через несколько месяцев фронт снова стал приближаться к деревне. Теперь отступают немцы. Стояла зима. И вот они сзывают жителей и на плохом русском языке объявляют приказ командования: в течение полчаса покинуть дома, деревня будет сожжена. Толина мать сразу стала готовить небольшие хлебы, сунула их в печь. Собрали в чемоданы и тюки все самое ценное и необходимое. Заходит к ним немец с канистрой бензина и велит выйти. Мать подзывает его к печке, показывает на хлеб и объясняет на пальцах, что надо еще пятнадцать минут подождать, пока хлеб испечется. Немец сказал: «Гут», — и ушел. Через какое-то время вернулся, мама вынула из печи хлеб, все вышли на улицу, и немец поджег дом. Кассиров говорил, что было ужасно больно и жалко смотреть, как горит родной дом. Вся деревня

ушла в лес, и там устроились, кто как умел. Вскоре появились наши. На сей раз стрельбы в деревне не было — немцы просто заблаговременно оставили ее, бежали.

Вот так Толя Кассиров наперекор другим подправил ходячее мнение о немецких солдатах. Между прочим, оставив профессию резчика, он сам стал впоследствии военным и дослужился до майора.

Первое место работы в моей самостоятельной жизни — Трест передвижки и разборки зданий. Начальник — Глызденко (почему-то запомнилась фамилия). Однако никакой передвижкой и разборкой мы не занимались, а делали прямо противоположное — строили здания на улице Горького. Естественно, нам, резчикам по камню, досталось украшение этих зданий.

Первое рабочее общежитие размещалось в громадном красивом здании — бывшем костеле на Малой Грузинской улице.

Сначала расскажу о работе, затем о жизни в нашем общежитии, которая теперь представляется мне просто-таки фантастической.

Работал я с ребятами нашей группы в трех домах: один около Телеграфа — дом с большими полированными гранитными арками окон первого этажа. Другой — угловой дом на Пушкинской площади напротив дома с башней, увенчанной фигурой женщины (отсюда пошло выражение «встретимся на Пушкинской под юбкой»), теперь этой фигуры уже нет. Третий дом — между Маяковской и Белорусской.

Запомнилась работа на Пушкинской. Во-первых, я там опять встретился с пленными немцами. Они делали самую простую и грубую работу: передвигали большие гранитные блоки, помогали ставить готовые изделия и раскалывать камни по нужному размеру. Это была уже *тонкая работа*: специальным пневматическим сверлом (типа шахтерского отбойного молотка) немцы делали ряд дырок в камнях, мы вставляли туда железные клинья между двумя железными пластинами — «щечками» — и умелым битьем большим молотком по клиньям раскалывали камень. Пока мы делали свое дело, немцы, скрестив руки на груди, наблюдали: тук-тук-тук-тук по клиньям то здесь, то там — и через две-три минуты каменная глыба весом в несколько тонн раскалывается пополам. Затем мы снова намечали, где продолбить дырки, немцы брались за пневматический инструмент, сверлили, а затем мы кололи гранит на меньшие куски сообразно размерам будущего изделия. Когда немцы, стоя на гранитных глыбах, долбили дырки, руки с работающим инструментом у них тряслись, раздавался ужасный дробный

треск, и я представлял, как они, солдаты, стреляли из пулемета. Один из немцев умел делать кольца вроде обручальных из серебряных монет. Ему приносили такие монеты, и он стал зарабатывать деньги, на которые ему покупали разные вещи и лакомства. Запомнился другой немец, которого все звали Костей, почему — не знаю; может, его немецкое имя было похоже. Рослый, молчаливый, работящий. Однажды русские ребята при встрече с ним приветливо спросили: «Как жизнь, Костя?», и тот, бегло оглянувшись, нет ли поблизости начальства, ответил: «Как собака!», — и быстро удалился. Помню, мне стало любопытно: почему «как собака»? Что с ним такое? Кем он был до войны в своей Германии?

Теперь расскажу о нашей жизни в костеле.

— «Где живешь?» — «В костеле». Или: «Я — *костельский*,» — сегодня это звучит странно и смешно, а тогда — вполне естественно. Мы привязались к этому совершенно необычному для Москвы громадному диковинному зданию в готическом стиле. Ну представьте себе, что вас по какой-то необходимости поселили в одной из кремлевских башен. Каково?

Внутреннее пространство костела разделили на три этажа: на первом этаже женское общежитие, на двух других — мужское. Были еще полуподвальные помещения с кухнями, подсобными комнатами, какими-то мастерскими. Помню, что там работали чеканщики по металлу из других художественных училищ (в нашем не учили чеканке). Сделали лестницу, которая вела на верхние этажи. Длиннющий коридор, справа и слева — ряды комнат. В конце коридоров большие круглые залы на месте алтарной части. В нижнем зале обычно происходили собрания, а в верхних — танцы, игра в шашки, шахматы, домино и просто встречи общежитийцев, разговоры. В самом верхнем зале под куполом висела на цепях большая металлическая птица с распростертыми крыльями размахом больше полуметра: ребята назвали ее орлом. Говорили, например: «Сегодня танцы под орлом». Вообще-то это образ Святого Духа в виде голубя, но ребята правы: какой же это голубь?

В каждой комнате жило по десять-двенадцать человек. Окна почти во всю стену от пола до потолка, причем с фигурным переплетом — это ведь громадные окна готического собора, вытянутые, высоченные, разделенные на три этажа. Третьему этажу, естественно, достался стрельчатый верх.

Жило в этом костеле, как говорили, пятьсот человек, и, конечно, происходили там разные события, случалось, и драматические.

Однажды сильно засорился один из туалетов (они были типа вокзальных), и как ни старались прочистить его своими силами, ничего не вышло. Пришли какие-то мужики, стали прочищать профессионально и с помощью гибкой проволоки с крючком на конце вытащили оттуда человеческого эмбриона (кажется, говорили, пятимесячного), завернутого в тряпки. Нынешние молодые не могут и представить себе, что значило такое событие в те времена, в 1949 году. Пришла милиция, следователи, несколько дней допрашивали молодых женщин (а пожилых у нас и не было) — и не нашли виновной.

Назначили общее собрание, на котором кроме комендантши общежития выступали незнакомые люди (кажется, врач и какой-то начальник) — анализировали, разъясняли, стращали. Я был на этом собрании, хотя и не до конца. Для меня, детдомовца, это событие тоже было чем-то исключительным — сценой из фильма ужасов.

У лепщика Анатолия Крякушина как-то украли новенький костюм. Он догадался, кто это сделал — из своих, костельских, — заявил в милицию, вора уличили, был суд, и виновный получил, кажется, два года тюрьмы. Приятели вора с Малой Грузинской — тоже из воров и шпаны — сильно избили Крякушина. Тогда он позвал нас, испанцев, отомстить чужим и неправым, чтоб *впредь неповадно было*. Выследив главного виновника по кличке «Нос» (у него действительно выдавался нос), а с ним был еще один, мы втроем — Альфредо Бильбао, я и сам Крякушин — напали на них, взяв в руки всякие твердые предметы, и тоже крепко побили. Я обычно участвовал в драках без энтузиазма и не очень усердствовал, можно сказать, формально выполнял свои неприятные приятельские обязанности.

Подобных событий было в костеле много. А более приятных и светлых? Такое тоже было. Геннадий Некрасов, камнерезчик из нашей группы (сам с Кургана, с Южного Урала), полюбил какую-то девушку, они поженились, и мы пировали в подвале костела. Правда, Некрасову не повезло: лет через двадцать, то есть совсем еще молодым, он разбился на машине в горах Кавказа.

Некоторые из наших резчиков, как и я, не любили гранитные работы на стройках и постоянно искали более достойную и художественную работу — по мрамору, известняку и ради этого даже терпели нужду. Однажды Саша Синельников, один из лучших резчиков и вообще талантливый человек (тоже из Кургана), сказал нам радостно:

— Всё, ребята, — нашел хорошую работенку.

— Где? — спрашиваем.

— В морге!

Все смеемся, а Саша говорит:

— Я серьезно!

— И что ты там делаешь?

— Ясно что — мертвецов обмываю.

Общий хохот. А Синельников, серьезнейшим тоном:

— Конечно, это временно, чтобы перебиться… Зато заработок хороший. Правда, денег дают мало, а остальное — натурой…

— Как — «натурой»?

— А так: девять обмоешь — десятого бери себе.

Не знаю, сам ли Саша придумал эту шутку (а он был шутник) или где-то подхватил, только больше я нигде ее не слышал.

А Костя Иванов устроился… милиционером! Прослужив несколько месяцев, он уволился (или его уволили), причем оставили ему милицейские форменные брюки. Пожалели его что ли? Ходить в них он не хотел, решил продать и обратился ко мне за помощью: мол-де, не умею торговать. Пошли на Тишинский рынок, что поблизости от костела. Я выставил хорошую цену и стал весьма убедительно расхваливать товар, а он, и правда, был высокого качества, только узенький красный кантик-лампас портил дело, но я и эту деталь расхваливал: «Оригинально!» В итоге хорошо продали брюки.

Между прочим, вспомнил странную, установившуюся тогда на рынке формулу торговли. Например: «Сколько просишь?»

— Пятьсот.

— А *как отдать*?

— Четыреста пятьдесят.

Я не соблюдал эту форму, говорил: «Так и отдать!» — и на меня злились, мол, ненормальный. Ну а затем, разумеется, зашли мы с Костей в «Чайную» (нелепое название), попросили знаменитые тогдашние «сто пятьдесят, кружку пива и сосиски с капустой» (или с горошком), ну и хлеба, а горчица на столе. Сначала «хлоп» по сто пятьдесят, затем едим, пиво пьем, разговариваем… И никакого чая. Полное счастье.

Рассказывая о нашем замечательном училище, я еще ничего не сказал о своих друзьях. Вообще доброжелателей было у меня много, неприятелей же — ни одного, даже самого незначительного. Это можно считать следствием особой черты характера: я должен быть всегда «на уровне», иначе *неприятно, ненормально.* И я за этим следил — сознательно и бессознательно. Если бы я стал для кого-нибудь *неприятным типом* — это было бы для меня «смерти подобно». Естественно, такое требование к себе в большом обществе «разноперой» молодежи потребовало от меня выработки особой *культуры поведения* с элементами тактических хитростей, но, в основном, я «брал» своими

способностями, обходительностью и всяческой помощью.

Из друзей хочется выделить двух: москвича Игоря Капкалло (его предки приехали из Белоруссии) и Сашу Синельникова из Кургана (Южный Урал), он тоже жил в общежитии. С Игорем мы подружились *сердечно,* то есть произошло не вполне объяснимое *притяжение душ,* а с Сашей сошлись на деловой, профессиональной почве. Он, несомненно, был одним из лучших учеников, и мы с ним, рассматривая альбомы с репродукциями или посещая музеи, любили обсуждать произведения скульптуры и архитектуры. Талант есть талант, поэтому я не удивился, когда в последствии он, научившись у приятеля, стал замечательным ювелиром.

Игорь восхищался моими способностями, а я — его ясной душой и искренними чувствами. Он был сильным и смелым парнем, несколько агрессивным в спорах, так что серьезно сцепиться с ним охотников не находилось. Но ко мне это не имело отношения. Раз или два в неделю, когда после учебного дня ему почему-то не хотелось час или полтора дожидаться ужина, он отдавал мне свою порцию. Мы с ним сидели за одним столом, так что раздатчица ставила на стол четыре порции — я съедал две.

В нашей дружбе с Игорем возникло очень серьезное, можно сказать драматическое, напряжение «на женской почве». Он полюбил девушку Лиду, которая работала в канцелярии Художественного фонда, помещавшейся на первом этаже того же дома, где он жил (на улице Горького около Моссовета). У Игоря была очень приятная семья: мама, хорошая русская женщина, добрая, заботливая; ее сестра, горбатенькая, однако словно не замечавшая этого, веселая, разговорчивая и тоже добрая; сам Игорь да младшая сестренка. Все они были мне симпатичны. Почему-то было заведено, что именно у них собиралась по выходным дням соседская молодежь, немного, человек пять-шесть. Танцевали под патефон и пили чай с домашним печеньем и тортом, который всегда, сияя улыбкой и радуясь, что доставляет удовольствие гостям, ставила на стол Игорева тетка. В эту компанию стала приходить и Лида (они были знакомы с теткой — вместе работали в Худфонде).

Как-то я принял Лидино приглашение и пришел к ним домой. Адрес помню: Товарищеский переулок, дом 31; у них была комната в коммунальной квартире в старинном двухэтажном кирпичном особняке. Рядом Андроников монастырь, памятник архитектуры XV–XVII веков, где теперь помещается Музей иконописи им. Андрея Рублева. Семья у Лиды была такая: мать Анастасия Ивановна, ее полоумная сестра, которую временами

забирали в психбольницу, брат Володя четырнадцати лет, учившийся в ремесленном училище на токаря, и сестренка восьми лет. Была еще старшая сестра Тамара, которая уже вышла замуж и жила у мужа, замечательного человека Евгения Худякова. Глава семьи Иван Коннов умер вскоре после Великой Отечественной войны.

Все пятеро жили в одной небольшой комнате, дружно и довольно счастливо. Человек — выносливое существо, и, в сущности, ему мало что надо, если есть работа, какой-то кров, необходимая пища, мир на земле и дружеские отношения с ближними — только не надо уводить человека от этого, развращать бесконечным потребительством. В этом я убеждался множество раз. Такие люди могли, увидев в кино, как живут богачи за границей, сказать: «У-у, сколько у них всего! Комнат не сосчитать! А какие платья!..» И тут же забывали об этом — и не чувствовали себя несчастными. Обычный мирный порядок, обычные заботы, простые радости, дружба — этого оказывалось достаточно для ощущения хорошей жизни. И хотя можно, конечно, не менее дружно жить в лучших условиях, это совсем не означает, что ту стесненную жизнь надо именовать *жалким существованием.* Так полагает только алчное и ненасытное современное шкурье.

Мать Лиды Анастасия Ивановна работала в канцелярии Худфонда и с удовольствием рассказывала мне, как, получая зарплату два раза в месяц (она ее выдавала), некоторые известные тогда художники — Соколов-Скаля, Дейнека, Кукрыниксы и другие — оставляли ей какие-то деньги. Так что семья жила не бедно, я это видел во время праздничных застолий. Они стали меня звать на свои семейные праздники, а затем и на воскресные обеды. Молодому человеку всегда приятно вкусно поесть и немного выпить с хорошими людьми, так что я стал привыкать к таким посещениям. Так я познакомился с сестрой Лиды Тамарой и ее мужем Женей, симпатичнейшим человеком. Он провоевал танкистом всю войну, был легко ранен и уволился в чине капитана. Очень интересно он рассказывал про войну, главным образом о неприятных случаях со своими. Один рассказ, самый драматический, я приведу…

Хотя, конечно, я не помню его рассказ дословно, буду говорить от его лица, тем более что все, что Женя говорил, запомнилось очень хорошо — сам потом не раз пересказывал.

«Однажды, осенью сорок третьего года, мы стояли в резерве. Я получил приказ отправиться со своей тройкой танков на север — на правый фланг нашей дивизии в расположение такого-то полка. Двигаемся тылами на полной скорости. Я высунулся из

башни, чтоб лучше ориентироваться, и вдруг вижу: метрах в трехстах впереди и левее широкой лощиной неспешно идут в нашем же направлении немецкие танки. Я приказал сбавить скорость, чтобы меньше шуметь, и взять правее, чтоб уйти из зоны видимости немцев. Поравнявшись с немцами (я понял это по звуку), мы тихо подошли к краю склона и видим: ползут один за другим пять танков. Мы рассредоточились по всей длине немецкой колонны и по условленному знаку открыли огонь по первому танку и по последнему. Передний танк остановился и задымил. Немцы поняли, где мы, быстро рассредоточились, повернули к нам пушки и открыли огонь. Мы маневрируем, то скрываясь от них, то появляясь в других местах; немцы тоже не стоят на месте. Бой длился довольно долго и не так успешно, как нам хотелось. Наконец мы подбили у них вторую машину. Тогда немцы на полной скорости спустились вниз и, продолжая стрелять, стали удаляться и скрылись за холмом. Я направил свою машину за ними — посмотреть, что они там затевают, но немцы неслись во всю мочь — видно было, что останавливаться не намерены. И правильно: раз не вышло скрытно зайти с тыла, бесполезно идти дальше, тем более что и снарядов осталось мало. Я потом думал: как им удалось незаметно пройти линию фронта? Наверное, была тут какая-то хитрость: то ли отступая, они замаскировали где-нибудь в овражке эти пять танков, то ли что-то еще. Двигаемся дальше к командному пункту полка.

Подходим, соскакиваю с машины, хочу доложить полковнику, что и как, а он, раздраженный тем, что неважно идут дела на его участке, как закричит: ‘Почему опаздываете?! Немедленно в бой, вон на ту возвышенность, подавить батарею противника!’ Я говорю: ‘Товарищ полковник, разрешите доложить…’, а он: ‘Какие еще доклады? Выполняйте приказ!’ Но я, наперекор ему, все равно доложил и сказал, что в бой идти не можем, поскольку израсходовали почти все снаряды, только пулеметные ленты почти в целости. ‘Что-о-о?!!’ — завопил он в полном бешенстве. ‘За невыполнение приказа командования во время боя — расстрел на месте!’ — и ушел.

И что ж вы думаете? Расстрельная команда — старшина с двумя автоматчиками — тут как тут. И ведут меня за блиндажи, в поле. Пока идем, я им рассказываю, что у нас случилось, говорю: ‘Ведь это проверить можно, тут, не далеко, два немецких танка дымят… А если б мы их не остановили? Но полковник и слышать ничего не хочет. Подождите немного, ребята, может, опомнится…’ Ребята, видно, верят мне и жалеют, но старший говорит: ‘Видишь, тебе за невыполнение приказа расстрел, а мне что — за невыполнение приказа?’ Я опять: ‘Ну подождите

немного… И подумайте, каково вам самим будет, когда станет известно, что невиновного расстреляли! Ведь свидетели есть — восемь танкистов!' В конце концов я не выдержал и заплакал от страшной обиды, от страшной несправедливости. Ребятам совсем стало тяжело. Старший говорит: 'Ну, сядем, покурим…' А я — как чувствовал! Вскоре около командного пункта началось какое-то движение, офицеры с биноклями бегают, смотрят на бой, что-то говорят, радуются… Значит, погнали немцев. Ребята это поняли, сидят, курят. Наконец старший говорит: 'Пойду-ка узнаю…' Через некоторое время возвращается, вижу — доволен: 'Я ему, мол, относительно тебя… Подождать, — говорю, — просишь…' А он: 'Кто? Чего?' Я напомнил, а он, махнув рукой: 'Ну его на х..!' — 'Так что можно тебя отпустить'. Я плачу, обнимаю его, говорю: 'Спасибо, ребята, век вас не забуду'».

Я спросил Женю:

— А ты потом показал какому-нибудь начальнику подбитые танки? Ведь за это нужно было наградить, а не расстреливать.

— Не до того было, скорей бы уйти. Какой-то офицер приказал нам отправляться в свою часть, ведь снарядов-то у нас почти не осталось. Мы сели по машинам — и полным ходом оттуда.

Я того полковника, будь на то моя воля, разжаловал бы в рядовые. Какое легкое отношение к жизни людей, к бойцам, какое *непонимание*! И все, наверно, оттого, что у него не ладилось руководство боем, видно, боялся, что «достанется» ему за это от командования.

Помню, мы оформляли два музея: музей И. Павлова и музей Тимирязева, который, кстати сказать, находится на Малой Грузинской улице, недалеко от костела.

Расскажу об одном ярком событии.

В мастерской работало несколько картонажников. Там я впервые познакомился с этой профессией, раньше даже не знал, что такая есть. Острыми ножами разной формы, различными металлическими линейками и прочими приспособлениями мастера вырезали из плотного картона утонченнейшие рамки для картин или фотографий, украшенные по углам объемными орнаментами. Едва ли сейчас существует такая профессия: видимо, мастера были *дореволюционные*. Не забудем, что это происходило в 1950 году, и, если какому-то мастеру было, скажем, 55 лет (а похоже, что так), значит, родился он в 1895 году.

Так вот, однажды за работой мы слушали по радио (на стене висел черный картонный круг репродуктора) последние известия. Как всегда сообщалось, что труженики такого-то колхоза рады

доложить дорогому товарищу Сталину о досрочном выполнении плана поставок таких-то продуктов, что только благодаря заботам партии, правительства и лично тов. Сталина труженики села… — и т. д. и т. п. Одна за другой следовали верноподданнические формулировки, обычные для того времени. Старший из картонажников (я сразу его выделил: серьезный, молчаливый, хороший мастер) повернул голову к репродуктору, прислушался, потом взял со стола какую-то большую деревянную чурку и с силой бросил в репродуктор. Продырявленная черная тарелка свалилась и замолкла. Мастер (жаль, не помню имени), потрясая кулаками, с огромной болью в голосе почти крикнул: «Это мое село!!!.. Там мать моя страдает!!!» Уткнулся лбом в стол и зарыдал. Мы остолбенели. Молчим. Один из художников — выпускник Суриковского института, высокий молодой человек лет тридцати (опять не помню, как звали), секретарь одной из партячеек Худфонда — подошел к мастеру, похлопал его по плечу и говорит, обращаясь к нему по имени-отчеству: «Ничего — репродуктор починим, и дело с концом. Работайте спокойно». Этот *парторг* за укрывательство такого поступка (да еще совершенного в присутствии многих людей) мог лишиться партбилета и *загреметь в лагерь* на многие годы. Значит, он не только был хорошим человеком, но и полностью доверял всем присутствующим.

Заработав деньги, я ходил в кино, слушал музыку в концертных залах или дома на проигрывателе (нужные пластинки я с великим рвением искал по всей Москве), читал необходимые мне книги в библиотеках — делал выписки в специально заведенную для этого толстую тетрадь; разучивал новые пьесы на мандолине и на гитаре, писал натюрморты или пейзажи, реже портреты (в том числе автопортреты), ходил по музеям. Очень любил я, вглядываясь в памятники древности разных народов, проникать в их жизнь, в их дух; постепенно это превратилось в потребность, в своеобразную «наркоманию». Наступали иногда, почему-то, дни растерянности, безделья, пустоты и вдруг — вот оно! — египетские залы в Музее имени Пушкина! — и я мчался туда, как пьяница в винный магазин. Проведя там часа полтора или два, я оживал, загорался, становился годным и готовым к делу.

Из самых приятных времяпрепровождений больше всего я любил вот что: беру билет на электричку километров на тридцать-сорок от Москвы, сижу, вглядываюсь в проплывающие пейзажи Подмосковья. Увижу особо красивую местность, сойду на очередной остановке, иду туда — к бугристым полям среди лесов, к речке, окаймленной ивами… Я всегда брал с собой этюдник с

масляными красками, книжку, которую изучал (чаще всего по философии), тетрадь для записей и, конечно, вкусную пищу и питье — вареного цыпленка, помидоры (вкуснейшие тогда были помидоры, сейчас таких нет), сыр, пол-литра минеральной воды и бутылку «Мукузани» или «Саперави». Брал с собой и блок-флейту. И вот, написав один-два этюда, я углублялся в лес или ходил вдоль опушки, выискивая подходящее дерево, повыше других — обычно это был дуб, растущий скорее вверх, чем вширь, или липа, или береза, или раскидистая сосна на опушке леса, — залазил как можно выше (лишь бы ветки держали меня, не ломались) — и устраивался там, *как дома*.

Чтобы добраться до первых ветвей, я искал большую упавшую ветвь, обрубал боковые ветки (маленький топорик я всегда брал с собой), оставляя небольшие сучки, чтобы потом за них хвататься, а в верхней части оставлял довольно большую развилку. Затем заострял толстый конец ветви, вонзал его в землю на нужном расстоянии от моего дерева, а развилку прилаживал к стволу, так чтобы ветвь не падала. Получалась *одноствольная лестница* метра три-четыре в длину. Затем, спрятав этюдник в густом кустарнике (мало ли что!), надеваю рюкзачок со всем необходимым и лезу по этой лестнице до первой ветви дерева, а там уже дело не особо трудное, да и занимательное, спортивное, если только руки сильные — а уж у каменотесов-то руки не слабые. Конечно, есть тут свои трудности, но выход из положения всегда можно найти.

Добравшись до вершины, прежде всего нахожу самое удобное место и устраиваю сиденье. Это обычная разделочная доска средних размеров (не маленькая), по узким ее краям два полукруглых выреза: один пошире, чтобы обхватить более толстую ветку, другой поуже. Крепко, враспор, вставляю ее между двумя растущими вверх ветками, и получается хорошее сиденье; или же прикрепляю доску веревкой к развилке горизонтальной ветки, тоже получается хорошо. Выбирая место, я учитывал всё: чтобы рядом можно было закрепить рюкзак; чтобы ноги не болтались, а упирались в нижние ветки; чтобы можно было опираться руками или спиной на ствол дерева или соседние ветки… Ведь я «жил» на дереве часа три или больше.

Первым делом вкусно, как следует, поем, попью вина. После этого читаю (иногда вслух) стихи, подходящие к случаю.

Затем играю на флейте, чаще народные испанские мелодии — кастильские, астурийские… Думаю: «Что чувствуют при таком звуковом вторжении птицы?» Затем читаю интересную для меня книжку, например «Опыты» Мишеля Монтеня или какое-нибудь *дореволюционное* (как тогда говорили) «Введение в философию», купленное в букинистическом магазине или взятое у приятеля;

размышляю и записываю свои идеи (иногда с восторгом — ибо *гениально*, хотя потом, спустя годы, с улыбкой вымарывал именно этот «гениальный» абзац). Для отдыха, для разнообразия, *путешествовую* по веткам дерева, рассматриваю далекую округу, нахожу другие, удобные для сиденья места: ведь если очень понравится, я снова сюда приеду, опять устроюсь, но иначе, на том же дереве; затем снова читаю, снова играю на флейте и, наконец, допиваю вино, закусив сыром, маслинами или фруктами; слезаю с дерева — это уже проще, ибо пустую бутылку, рюкзак с топориком, доской и веревками можно, прицелившись между ветвями, сбросить вниз.

Такое времяпрепровождение, такая жизнь была для меня (при моем характере, конечно) самой приятной, самой счастливой, ни с чем не сравнимой: одиночество среди благородной природы под голубым небом, тишина — слышится только пение птиц да шелест листвы, — любимые занятия, чистое мышление — *высшая свобода.* Поэтому я, много позже, сразу понял и оценил слова Андрея Платонова: «Наедине с собой — как вдвоем, вчетвером: и собеседование, и дружба, и безнаказанно, и интересно».

Как-то гуляя в одиночестве во дворе нашего дома, заросшего деревьями и кустами, гляжу я на главную улицу и вижу: идет мимо молодая цыганка с младенцем на руках. Она почувствовала мой взгляд, оглянулась, остановилась и затем уверенно пошла ко мне. Подошла и предлагает погадать. Я не любил (да и сейчас не люблю) это дело, отказываюсь и отхожу в сторону. Она настаивает, я взглянул на нее внимательнее: вижу, красивая женщина с приятными лучистыми глазами и ребеночек милый (ему, видать, около года), смотрит на меня вполне осмысленно и улыбается. Я незадолго до этого получил за что-то деньги и мне дали целую банковскую упаковку одних пятерок, значит сто штук. Я держал их в кармане пиджака, без бумажника — было приятно вынимать эти бесконечные пятерки, считать их вслепую — пальцами, и покупать, что нужно. Так вот, я нащупал несколько бумажек, вынул и дал ей:

— Нате для вашего ребеночка, — повернулся и пошел прочь. Цыганка кричит мне вдогонку:

— Ты пришел из-за моря… Папа и мама недолго кормили тебя… Не тревожься о будущем, живи смело — все будет хорошо, счастливо. Две женщины сейчас в твоем сердце — черная и блондинка… Выбери черную, другая тебе не годится… А проживешь ты на свете восемьдесят два года.

Повернулась и удалилась быстрыми шагами.

При первых ее словах я обернулся — она стоит, вытянув ко мне руку, как бы приказывая стоять на месте, и глядит на меня

пронзительным взором. Я был ошеломлен, сел на скамейку между кустами и стал думать о том, что произошло… Что это?!

Каким бы оно ни было, это предсказание вошло в коллекцию чудес, случившихся со мною. Некоторые чудеса совершенно не поддаются разумению. Об одном из них я расскажу тут же, поскольку это случилось примерно в те же годы.

Однажды я шел со своим этюдником один по летнему полю «во время солнечного сияния» (слова А. Платонова), присел отдохнуть, посмотрел на небо и вдруг… увидел — необъяснимым образом, вроде бы отсутствующим у нас «зрением» — бесчисленное количество вещей (назовем это так). Именно *бесчисленное,* в самом прямом смысле этого слова, то есть как будто бы вижу разом все вещи, какие только возможны, какие были, есть и будут в вечности. Разумеется, я не мог сосредоточить внимание на каждой вещи, но было такое чувство, такое понимание, как будто тогда я осознал, как устроены вообще все вещи, и мог бы любую видеть насквозь, зная, *как она устроена в Универсуме.* Причем они существовали не отдельно, а *взаимопроникали,* переплетались, сливаясь в *Одно,* охватываемое моим «виденьем». Это *Одно* не было чем-то безграничным, необъятным (поскольку я видел его все целиком) — скорее это была некая *всёвмещающая Точка,* но и это не совсем верно.

То особое состояние длилось (как мне потом говорили знатоки эзотерики, которым известно это явление) две-три секунды, хотя мне казалось, что дольше — примерно минуту. Они и это подтвердили: «Так обычно и кажется». И опять я задумался, пытался что-то понять, объяснить, даже вынул из сумки тетрадь и стал писать: *«Всё* — это…» Но сколько ни напрягал память и мысль, ничего не получалось. Такого рода случаи — «опыт» — научили меня внимательно и серьезно относиться к разного рода мистическим учениям, а в дальнейшем привели к мысли о том, что мы, люди, образно выражаясь, — очень высоко развитые тараканы.

notes

Примечания

1

Текст Михалкова: «Вопрошает жрец науки: / — Для чего фашисту руки? / — Чтоб держать топор и меч, / чтобы красть, рубить и жечь».